This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

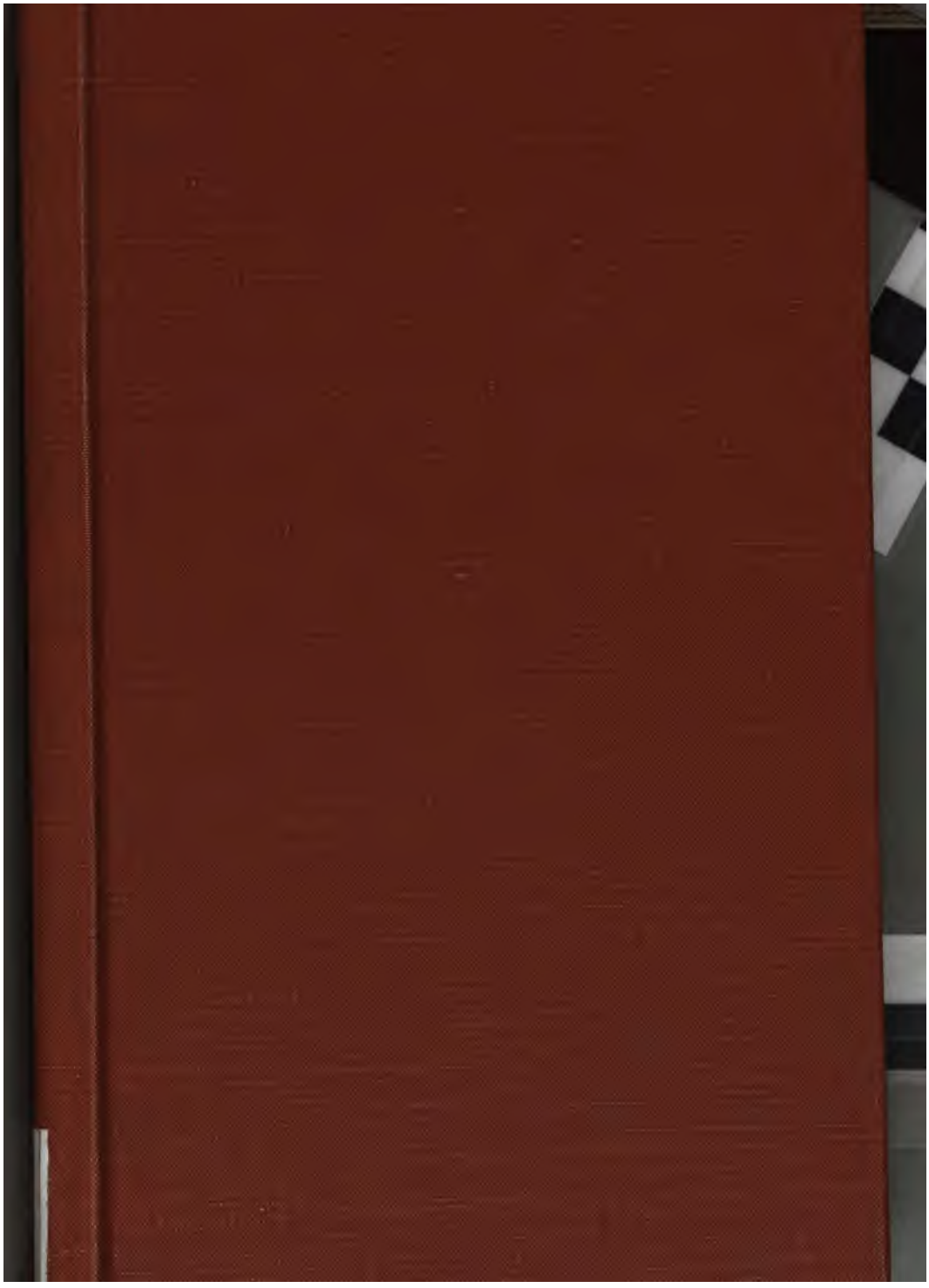
- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`



STANFORD UNIVERSITY
LIBRARIES

STANFORD UNIVERSITY
LIBRARIES

This is an authorized facsimile of the original book
and was produced in 1978 by microfilm-xerograph
by University Microfilms International
Ann Arbor, Michigan, U.S.A.
London, England

РУССКІЕ

ПОВѢСТИ

И

РАЗСКАЗЫ

А. Марлинскаго.

Изданіе третіе.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ТИПОГРАФІЯ III. ОТДѢЛЕНІЯ СОБСТВЕННОЙ Е. И. В. КАНЦЕЛЯРІИ.

PG
3321
.B45
1838

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ,

съ тѣмъ, чтобы по напечатаніи представлено было въ Цензурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ.

Санктпетербургъ, 13 Апрѣля 1838 года.

Цензоръ *А. Никитенко*

ЛАТНИКЪ,

разсказъ Партизанскаго офицера.

Мы гнались за Наполеономъ по горячимъ слѣдамъ. 22-го Ноября послалъ меня Сеславинъ очистить лѣвую сторону Виленской дороги, съ сотнею Сумскихъ гусаръ, взводомъ драгунъ Тверскаго полка, да дюжиною Донцевъ. Мѣстомъ сбора назначено было мѣстечко Ошмяны, и я, получивъ приказаніе, что дѣлать и чего не дѣлать, на рысяхъ пустился проселками. День былъ не морозенъ, но туманенъ, и порой перепархивалъ снѣжокъ: лихая пороша на звѣрей и непріятелей. Впрочемъ, и безъ нея легко можно было узнать, гдѣ прошли Французскіе отряды: взорванные *ящики, брошенныя* повозки, нашіе кони, и,

что всего ужаснѣе, замерзшіе солдаты устилали дорогу. Мы, правда, ужъ привыкли къ подобнымъ картинамъ, и хладнокровно ѣхали мимо труповъ, распухшихъ и посинѣлыхъ отъ антонова огня, не заставляя даже усталыхъ коней своихъ черезъ нихъ перепрыгивать. На лицахъ этихъ несчастныхъ видна была тяжкая печать мучительной кончины. Я бы привелъ туда молодцевъ, которые, сидя на печкѣ, увѣряютъ, что смерть отъ мороза — сладкое усыпленіе: они увидѣли бы тамъ всю постепенность боренія съ одолевающею судьбою, борепіе судорожное, отчаянное тѣмъ болѣе, что они обнажены были товарищами заживо — чувство самохраненія заглушало тогда во всѣхъ сердцахъ голосъ сострадапія, человѣчества и братства; мертвецы валялись обнаженные, и лишь снѣгъ одѣвалъ ихъ холоднымъ покрываломъ своимъ. Отсталые и, какъ видно, послѣдніе были еще не совсѣмъ раздѣты, но одежда ихъ была плоха, изорвана, ноги обернуты соломою; и такъ велика была неопытность Французовъ, что у многихъ изъ нихъ на спинахъ вѣяли бараньи шкуры сверхъ мундира, вмѣсто того, чтобъ надѣть ихъ подъ исподъ. Иные сидѣли и лежали у потухшихъ огней, съ которыми потухла въ

могши отъ истощенія отодвинуться. Всѣхъ болѣе поразилъ меня гренадеръ старой гвардіи: глядимъ — онъ стоитъ вдали, опершись о ружье, — подъѣзжаемъ ближе: онъ мертвый. Густая медвѣжья шапка отѣняла сдвинутыя страданіемъ брови и закатившіеся его глаза; изъ-подъ огромныхъ усовъ, на которыхъ недвижимо висѣлъ иней — сверкали стиснутые зубы. Онъ былъ раненъ въ грудь, и кровь, струившаяся на снѣгъ, замерзала на немъ клубами.

Подъ моей командою былъ прекрасный молодой человѣкъ, поручикъ Зарницкій, и волонтеръ Кравченко, полковой аудиторъ, который, видя, что въ народную войну нужнѣе сабли, чѣмъ перья, бросилъ артикулъ и принялся разрѣшать Гордіевы узлы по-Александровски. Малый добрый, храбрый какъ пуля, за то и тяжелый какъ свинецъ, изъ котораго она вылита.

Мы всѣ трое подъѣхали къ замерзшему, и съ содраганіемъ смотрѣли на его выразительное лице. Казалось, душа его улетѣла къ милой родинѣ въ послѣднемъ взорѣ, но, улетая, оставила въ чертахъ слѣды прежней гордости и отваги: движеніе губъ выражало презрѣніе боли, его побѣдившей. Онъ прижималъ къ *груди товарища* своихъ походовъ — неизмѣн-

ное ружье, и на этой груди видѣлись раны — свидѣтели битвъ, и крестъ Почетнаго легіона, порука храбрости, звѣзда побѣды.

— Бѣдняга, сказалъ аудиторъ: какъ не жаль этакого молодца, хоть, между нами будь сказано, и Француза: вѣдь въ любой полкъ во флигельманы годится.

— Завидная смерть! сказалъ я: онъ умеръ съ оружіемъ и стоя.

— За то, какого имени стоитъ этотъ Наполеонъ, бросая такихъ людей на жертву своему властолюбію! возразилъ поручикъ съ негодованіемъ, показывая на мертвеца и на кровавый слѣдъ его: эти кровавыя буквы приговоръ его осужденія!

— Попадись только Наполеонъ къ намъ въ когти, подхватилъ съ жаромъ нашъ коротенькій аудиторъ: я какъ разъ подведу законецъ, чтобы его, яко неимѣющаго дворянскаго званія, прогнать за побѣгъ сквозь строй шпицрутеномъ, а за мятежъ весьма лишить живота!

Такъ разговаривая, приближались мы къ лѣсу. Двое самыхъ расторопныхъ казаковъ почти за версту впереди оглядывали дорогу, а нѣсколько другихъ тянулись по бокамъ и сзади отряда. Вдругъ завидѣли мы, что одинъ изъ нихъ сталъ на мѣстѣ — между тѣмъ, какъ другой началъ разводить на скаку круги шире

и шире. — Зная, что это значитъ, я выстроилъ людей съ права по шести.

— Сабли вонъ и стой — равняйся!

Поджидаю, что будетъ. Страхъ люблю видѣть Русскаго солдата передъ дѣломъ. Каждый, оглядывая кремень и отирая погтемъ полку шепчетъ товарищу: слава Богу, добрались до нихъ! И потомъ съ такою непритворною набожностію креститъ грудь свою, съ такою теплою вѣрою взглядываетъ на небо! И потомъ такъ гордо встряхивается въ сѣдлѣ, такъ увѣренно смотритъ изъ-подъ руки вдаль, какъ будто говоритъ: Ну, сколько васъ тамъ, бусурманы? Подавай ихъ сюда!

Синій дымокъ взвился съ пистолета передоваго казака — и долго послѣ услышали мы выстрѣлъ. Казакъ уже несся къ намъ на встрѣчу, между тѣмъ какъ товарищъ его принялся кружиться передъ опушкою, и выманилъ нѣсколько выстрѣловъ.

Непріятель оказался — впередъ!

Въ тотъ же мигъ мы выстроили взводную колонну и пошли рысью къ лѣсу.

— Много ли Французовъ, земляк? спросилъ я у казака.

— Словно крупа сыплется — да съ ними и пушки есть, отвѣчалъ онъ.

— Тѣмъ лучше, вскричалъ поручикъ Зар-

ницкій: авось онѣ стрѣльнутъ въ меня Георгіевскимъ крестомъ!

Скоро мы были на полвыстрѣла отъ опушки — однако ни одна пуля не встрѣчала насъ. Это что за извѣстіе?

Чтобы не наткнуться на засаду, я не прежде велѣлъ своихъ въ лѣсъ, какъ увѣрившись, что непріятель стянулъ своихъ стрѣлковъ на дорогу. Сѣвшимъ драгунъ съ примкнутыми штыками, я осѣдлалъ ее, раскинувъ по чащѣ въ обѣ стороны застрѣльщиковъ. Мы скоро нагнали отступающихъ Французовъ: отрядъ ихъ состоялъ изъ баталіона пѣхоты при двухъ орудіяхъ. Жалко и страшно было смотрѣть на обезображенныхъ усталостію, морозомъ и голодомъ гренадеровъ; смѣшно бы было видѣть ихъ костюмы, если бъ мы сами не были убраны чуть не также. И у нихъ и у насъ были люди въ рясахъ, въ балахонахъ, въ женскихъ шапочкахъ — у кого нога въ лаптѣ, у кого въ сапогѣ — мой пахмистръ, лихой рубака, цѣлыхъ два мѣсяца щеголялъ въ салопѣ какой-то кумушки, а я самъ былъ завернутъ въ коверъ, посреди котораго прорѣзалъ мѣсто для головы. Въ столицахъ смѣялись карикатурамъ бѣгства Французовъ изъ Россіи, но походъ и бивачная

жизнь парядили и насъ въ ихъ мундиры: пестрота была невообразимая!

Французскій отрядъ шелъ медленно — за то въ непроницаемомъ порядкѣ, и съ каждымъ разомъ, какъ мы порывались ударить на нихъ — обращался и, твердой ногой ставши, отстрѣливался. Баталіонный командиръ вился около своихъ, ободряя ихъ словомъ и примѣромъ: allons, courage, mes enfans — montrez les dents, camarades — serrez vos rangs, halte! criblez moi d'importance ces landrins, ça tient le coeur chaud: filez, filez, vous dis-je . . . feu! и тому подобныя приговорки лились у него рѣкой.

Всякой разъ, когда перемежался огонь, голосъ его слышался громокъ и внятенъ. Видя невозможность успѣть въ нападеніи по узкой тропинкѣ, мы слѣдовали за ними, но временамъ мѣшаясь пулями и бранью, которая со времени Гомеровыхъ есть вѣчный припѣвъ сраженій и подстреканій удальцевъ. Непріятельскія орудія, подернутыя морозомъ, скрипя и гремя цѣпями, прыгали черезъ коренья Литовскихъ сосенъ: худые кони, натужась въ упоръ, едва тащили ихъ по гололедицѣ,—рвались, скользили, падали — наконецъ мы замѣтили, что одно изъ орудій стало отставать, отставать, и Французы, видя, что ни бичемъ, ни крикомъ нельзя ободрить коней, отпрягли

ихъ, загвоздили затравку, нарубили спицы и бросили пушку на дорогѣ.

— Разумѣется, что и мы сдѣлали то же. Куда намъ было возиться съ этою дрянью; въ 12-мъ году пушками хоть прудъ пруди. Мимоходомъ сказать — большая часть кавалеріи и артиллеріи Наполеоновской погибла не столько отъ недостатка въ кормахъ, какъ отъ бездѣлицы — отъ неумѣнья ковать лошадей на шипы. Бѣдняги на гладкихъ Французскихъ подковахъ оставались, какъ раки на мели, на чуть-чуть гладкой дорогѣ — и мы не рѣдко ремонтировались брошенными конями, излечая ихъ гарнцомъ овса и парою цѣпкихъ подковъ.

Но лѣсъ началъ рѣдѣть: непріятель выстроилъ колонну и сдвоилъ шагъ, чтобы черезъ поле скорѣе добраться до замка, который вдали выглядывалъ изъ-за деревеньки. Я усилилъ фланкеровъ.

Казаки и гусары мои налетали на колонну, какъ ласточки на ястреба, и щипали его по перу: одни за другими падали Французы по слѣды свои — порой валился и Русскій. Мнѣ наскучили эти шутки.

Выбравъ чистое мѣсто, я развернулъ фронтъ, въ надеждѣ смять натискомъ непріятеля и захватить пушку — но онъ угадалъ меня — на

бѣгу выстроилъ каре, маскировалъ орудіе и сталъ недвижимъ. Люди у меня были сорвиголова, пѣзжены лихо, оружіемъ владѣть мастера, прокопчены порохомъ до костей и такъ приметались ежедневными стычками къ нападеніямъ, что слушались слова начальника пуще пули непріятельской; со всѣмъ тѣмъ атаковать опытную пѣхоту конницею — заставить хоть у кого прыгать ретивое. Впрочемъ фланговые и замочные унтерь-офицеры — это нравственное основаніе строя, были у насъ въ отрядѣ — народъ отличной храбрости. Ходили мы въ аттаку не иначе, какъ рысью, за тѣмъ, что нестись во весь опоръ за версту кончается обыкновенно тѣмъ, что строй разорвется, многіе кони задохнутся, многіе понесутъ, и лишь одна горсть отважныхъ доскакиваетъ до непріятельскаго фронта, и опрокинутая, улепетываетъ назадъ быстрѣе натиска. Кричать ура не было заводу — за тѣмъ, что тѣ, которые ревутъ прежде всѣхъ и раньше поры,—первыя осаживаютъ подъ шумокъ копей, и отъ того разстроиваютъ купность удара. Напомнивъ гусарамъ, что и какъ должны они дѣлать, я повелъ атаку ровно, смѣло. Мерзлая земля загудѣла подъ мѣрною рысью; уланскія пики, которыми тогда вооружены были и гусары, залепетали флюгерами, и брянчанье

оружія раздалось въ осеннемъ воздухѣ — все это покрывалось изрѣдка словами: равняться, не волноваться, не заваливать плечъ! Въ непріятельскомъ фронтѣ была смертная тишина, мы близились быстро; можно ужъ было различать блѣдныя лица и сверкающіе надъ стволами глаза гренадеровъ подъ наклоненными ихъ шапками. Въ ста шагахъ я скомандовалъ маршъ-маршъ, и съ поднятою саблею кинулся на рогатку штыковъ — въ то же мгновеніе, за крикомъ: feu! грянулъ пушечный выстрѣлъ, картечи запрыгали около, и густой батальный огонь покатился вдоль фасовъ — онъ развѣялъ нашъ фронтъ, какъ пухъ. Кони смѣшались, на раненыхъ спотыкались здоровые, мы принуждены были обратиться назадъ. Картечь и штыки, нестерпимыя вещи для лошадиной натуры. Три раза еще порывались мы пробить каре, и три раза были отбиты. Я грызъ зубы. Поручикъ бѣсновался . . . но дѣлать было нечего. Пришлось, сберегая людей, ограничиться перестрѣлкою, ожидая удобнѣйшаго мѣстоположенія или времени. Завязать дѣло было необходимостью, чтобы развлечь вниманіе непріятельскаго корпуса. Пускай себѣ думаютъ, что мы, обманувшись, преслѣдуемъ Наполеона проселками — между

тѣмъ, какъ наши летучіе отряды катились у него на шпорахъ.

Такъ догнали мы храбрыхъ своихъ враговъ до небольшой деревеньки при замкѣ Треполь. Между тѣмъ люди и кони мои изнурились давнимъ налетомъ, какъ нельзя болѣе — надобно было освѣжить тѣхъ и другихъ, а въ полѣ ни стога сѣна, въ саквахъ ни крошки сухарей: волей и неволей приходилось добыть себѣ хлѣбъ насущный и ночлегъ въ деревнѣ, прогнавъ изъ нея непріятеля. На Русскаго солдата всего сильнѣе дѣйствуетъ такая логика, и когда я объявилъ имъ, въ чѣмъ дѣло,— они съ жаромъ кинулись выбивать Французовъ изъ засады. Впереди шли драгуны въ штыки: гусары съ карабинами подкрѣпляли ихъ — казаки зажигали домы съ боковъ —это подѣйствовало: мы потѣснили ихъ до самаго замка — ворвались во дворъ, и наконецъ они заняли только самый корпусъ дома панскаго, и въ немъ отстрѣливались тѣмъ отчаяннѣе, тѣмъ безопаснѣе, что взвезли на подъѣздъ свое орудіе, и очищали имъ весь дворъ, сквозь огромныя двери сѣней. Съ другихъ сторонъ окна были высоко отъ земли, и потому самою выгодною точкою нападенія оставалось — орудіе, во-первыхъ потому что къ нему, и мимо его въ домъ можно было вбѣ-

руку, ура! Съ этимъ словомъ онъ кинулся къ стѣнѣ, не оглядываясь назадъ, какъ будто увѣренный, что магическій примѣръ его увлечетъ всѣхъ за собою. И въ самомъ дѣлѣ, нежданое появленіе этого латника, его колосальныя формы, его безстрашная осанка, его повелительный голосъ — показались солдатамъ чѣмъ-то сверхъестественнымъ; они ожили, посильнѣли. Ура! раздалось въ отвѣтъ на призывъ латника, на усиленный огонь Французовъ, и всѣ мы кинулись къ подъѣзду, вынося другъ друга на плечахъ; выстрѣлъ — картечь черезъ головы — пошла рѣзня рукопашная. Мы ворвались въ комнаты, и дѣло рѣшилось. Кирасиръ рубилъ безъ пощады; каждый взмахъ его падалъ смертью — онъ разсѣкъ голову Французскому баталіонному командиру, едва тотъ успѣлъ запалить затравку — и несчастный упалъ въ крови черезъ лафетъ; солдаты мои остервенились потерею многихъ товарищей, и съ ожесточеніемъ кололи всѣхъ Французовъ и вооруженныхъ пляхтичей, упорно противъ насъ защищавшихся.

Картина была ужасная!

Пороховой дымъ густыми облаками ходилъ по залѣ: кровь, смѣшанная съ разсыпанымъ *порохомъ*, залила паркетъ, на которомъ

нія потолка, обрушенныя отъ выстрѣловъ. Разъяренные побѣдители ломали мебели, били стекла и зеркала, обдирали обои, наконецъ, вызванные изъ замка для фуражировки, добычи, гораздо для нихъ нужнѣйшей самаго золота, они разсыпались по деревнѣ, и въ замкѣ все утихло. Воображать себѣ, что солдаты въ военное время такъ смирны, какъ это пишется — надо быть или очень легковѣрну, или вовсе слѣпу: общая опасность уравниваетъ больше или меньше всѣ чины, а необходимость заставляетъ глядѣть сквозь пальцы ка нѣкоторыя своевольства. Такъ идетъ въ строю; въ летучемъ же партизанскомъ отрядѣ, котораго главная цѣль есть вредить непріятелю всякими средствами, вести, такъ сказать, разбойничью войну — еще болѣе случаевъ пограбить за глазами начальниковъ. Слѣдуя правилу своему, расхищать, что могутъ найти, истреблять, чего нельзя унести, чтобы врагу не досталось ни синяго пороха — ни соломенки на кровлю, ни прутика для огня, мои молодцы съ особенною ловкостію пустились шарить и шныхарить. Взявъ всѣ предосторожности отъ внезапностей, я велѣлъ караульнымъ разложить въ одной изъ комнатъ, менѣе *другихъ пострадавшихъ*, — огонь въ *каминѣ* — и перенесъ туда окоптуженнаго по-

руку, ура! Съ этимъ словомъ онъ кинулся къ стѣнѣ, не оглядываясь назадъ, какъ будто увѣренный, что магическій примѣръ его увлечетъ всѣхъ за собою. И въ самомъ дѣлѣ, нежданое появленіе этого латника, его колосальныя формы, его безстрашная осанка, его повелительный голосъ — показались солдатамъ чѣмъ-то сверхъестественнымъ; они ожили, посильнѣли. Ура! раздалось въ отвѣтъ на призывъ латника, на усиленный огонь Французовъ, и всѣ мы кинулись къ подъѣзду, вынося другъ друга на плечахъ; выстрѣлъ — картечь черезъ головы — пошла рѣзня рукопашная. Мы ворвались въ комнаты, и дѣло рѣшилось. Кирасиръ рубилъ безъ пощады; каждый взмахъ его падалъ смертью — онъ разсѣкъ голову Французскому баталліонному командиру, едва тотъ успѣлъ запалить затравку — и несчастный упалъ въ крови черезъ лафетъ; солдаты мои остервенились потерею многихъ товарищей, и съ ожесточеніемъ кололи всѣхъ Французовъ и вооруженныхъ шляхтичей, упорно противъ насъ защищавшихся.

Картина была ужасная!

Пороховой дымъ густыми облаками ходилъ по залѣ: кровь, смѣшанная съ разсыпан-

мія потолка, обрушенныя отъ выстрѣловъ. Разъяренные побѣдители ломали мебели, били стекла и зеркала, обдирали обои, наконецъ, вызванные изъ замка для фуражировки, добычи, гораздо для нихъ нужнѣйшей самаго золота, они разсыпались по деревнѣ, и въ замкѣ все утихло. Воображать себѣ, что солдаты въ поспное время такъ смирны, какъ это пишется — надо быть или очень легковѣрну, или вовсе слѣпу: общая опасность уравниваетъ больше или меньше всѣ чины, а необходимость заставляетъ глядѣть сквозь пальцы на нѣкоторыя своевольства. Такъ идетъ въ строю; въ летучемъ же партизанскомъ отрядѣ, котораго главная цѣль есть вредить непріятелю всякими средствами, вести, такъ сказать, разбойничью войну — еще болѣе случаевъ пограбить за глазами начальниковъ. Слѣдуя правилу своему, расхищать, что могутъ найти, истреблять, чего нельзя унести, чтобы врагу не досталось ни спнаго пороха — ни соломенки на кровлю, ни прутика для огня, мои молодцы съ особенною ловкостію пустились шарить и шныхарить. Взявъ всѣ предосторожности отъ внезапностей, я велѣлъ караульнымъ разложить въ одной изъ комнатъ, менѣе *другихъ пострадавшихъ*, — огонь въ *каминѣ* — и переносъ тулъ окоптуженнаго по-

ручика. Онъ кряхтѣлъ и бранился, между тѣмъ какъ фельдшеръ натиралъ ему больной бокъ спиртомъ. Я, усталый, лежалъ передъ огонькомъ на гусарскихъ плащахъ. Въ окно свѣтило зарево пожара, и отъ времени до времени слышались въ селеніи пистолетные выстрѣлы.

— Проклятая пушка! приговаривалъ охая Зарницкій при каждомъ разѣ, когда фельдшеръ касался до контуженнаго мѣста: она словно кладъ не давалась мнѣ въ руки. Подъ Краснымъ, Французская сабля мнѣ хотя прорѣзала на груди нетлицу, да по крайней мѣрѣ я вдѣлъ въ нее Владиміра съ бантомъ, а эта упрямица отбоярилась отъ меня однимъ чугуннымъ поцѣлуемъ. Охъ, проклятая пушка!

— Утѣшься, Зарницкій, — она не ушла отъ насъ! сказалъ я.

— Да не пойдетъ и съ нами. Дорога еще не окрѣпла, кони истощены, и колеса будутъ рѣзать за ступицы. Она свяжетъ насъ по рукамъ и по ногамъ; при летучемъ отрядѣ не впору полэти этому мѣдному тюленю.

— О перевозкѣ не заботься — я ужъ велѣлъ положить ее на розвальни, и тебя жалую начальникомъ всей нашей зимней артиллеріи.

— *Эта зимняя* артиллерія нагрѣла мнѣ бокъ *не хуже Петровокъ*; да скажи, пожалуй, куда

дѣвался этотъ кирасирскій великанъ, который выхватилъ у меня пушку изъ-подъ носу? Когда я очнулся, то въ облакахъ сѣрнаго дыма, онъ, въ бѣломъ мундирѣ и въ латахъ своихъ, показался мнѣ за привидѣніе. Нечего сказать, удалецъ — онъ крошилъ палашемъ своимъ, какъ будто въ кулакѣ у него сидѣлъ цѣлый легіонъ чертей, и метался въ схваткѣ, будто на немъ надѣта была заговоренная кожа Ахиллеса. Не убитъ ли, не раненъ ли онъ?

— Не знаю. Видѣлъ его я до самаго конца дѣла — въ запальчивости онъ истреблялъ встрѣчнаго и поперечнаго; не было пощады даже тѣмъ, которые просили пардону. Кровь струей бѣжала съ его клинка съ особенною, какою-то дикою радостью рубилъ онъ вооруженныхъ враговъ, и всякой разъ, когда человѣкъ падалъ трупомъ къ ногамъ его, онъ, вглядываясь въ лицо, восклицалъ: это не онъ! все еще не онъ! и спѣшилъ далѣе. Мнѣ сказывали — увязавшись за кѣмъ-то въ погоню, онъ исчезъ въ потемкахъ . . . можетъ статься, гдѣ нибудь и застрѣлили его... Я велѣлъ всюду его искать, но до сихъ поръ еще не нашли латника.

— Нашли, нашли! кричалъ вбѣгая, запыхавшись, нашъ кубическій аудиторъ. Ура! наша взяла! Миръ Россіи, слава и честь ауди-

тору 12 класса Кравченкѣ; поздравьте меня, обнимите меня, расцѣлуйте меня въ лепестки... Уфъ!... я не могу болѣе...

При этомъ онъ упалъ въ кресла и, пыхтя, съ гордымъ видомъ поглядывалъ на насъ съ высока. Мы съ улыбкою взглянулись, желая найти на лицѣ другаго разгадку этимъ междометіямъ.

— Теперь мое имя будетъ сіять не въ однѣхъ скрыпахъ шнуровыхъ книгъ — оно загремитъ въ реляціяхъ, въ газетахъ, въ исторіяхъ! продолжалъ Кравченко, собравшись съ духомъ ... да, да, въ исторіяхъ!

— По крайней мѣрѣ въ какой нибудь комедіи, сказалъ поручикъ, слѣдя глазами аудитора, который въ припадкѣ самодовольствія вертѣлся и прыгалъ по комнатѣ, словно кубарь.

— Чиновъ, крестовъ, пенсіоновъ — бери, не хочу! Да то ли еще? на меня сбѣгутся смотрѣть старъ и малъ, когда я пріѣду въ Петербургъ, какъ на моржа, который въ кадкѣ играетъ на гитарѣ. Меня на перехватъ будутъ звать вельможи на обѣды, а про мѣста и говорить нечего — хоть въ министры юстиціи — впрочемъ, господа, я и въ счастіи не позабуду васъ... вы, пожалуйте, обращайтесь ко мнѣ по-дружески, если придетъ нужда — для ко-

старыхъ пріятелей? — Кстати, г-да — вы будете моими дружками, когда я женюсь на дочери Платова! . . .

Мы долго смотрѣли серьозно на его проказы, какъ онъ, подымаясь на цыпочки, воображалъ, что задѣваетъ носомъ за облака; мы долго слушали его пѣлости — но при послѣднемъ восклицаніи хоть и увѣрились, что онъ рехнулся — но никакъ не могли удержаться отъ смѣха — такъ забавенъ былъ нашъ маленькій человѣчекъ. Въ свою очередь и онъ съ удивленіемъ глядѣлъ на насъ изъ широкихъ креселъ, какъ сытый котъ изъ слуховаго окна: онъ не постигалъ чему хохочемъ мы, схватясь за бока.

— Не проглотилъ ли ты, любезный Лука Андронычъ, чертенка вмѣсто мухи? спросилъ поручикъ.

— Не опоили ли тебя Французы дурманомъ? сказалъ я.

— Или не хочешь ли ты прикинуться сумасшедшимъ, чтобы поправить прежнюю репутацію своего разсудка? — авось скажутъ, коли сошелъ съ ума, вѣрно было съ чего, подхватилъ Зарницкій.

— Не худо бы вамъ успокоиться, примол-

[illegible] читься бѣлой горячкой?

— Совѣтовалъ бы я вамъ пустить себѣ самимъ рожечную кровь, отвѣчалъ Кравченко... Экая невидаль — дочь Платова! Да чѣмъ бы я не зять атаману? Вѣдь онъ самъ объявилъ всѣмъ и каждому циркулярно, что кто захватитъ Наполеона, за того онъ отдастъ дочь свою, будь онъ простой казакъ, не только аудиторъ 12 кл[illegible]тавленный къ полученію Анны на[illegible]ашъ не слыхали вы этой новости?

— А вы, [illegible]повѣрили? Знайте же, г-нъ аудитор[illegible], представленный къ полученію А[illegible]гу и проч. и проч. и проч., что [illegible]ѣтъ дочери невѣсты, что онъ нико[illegible]ялъ и не гадалъ объявлять подоб[illegible]оженія. Но если бъ даже, по щуч[illegible]ью, а по вашему хотѣнью, у него и была дочь, если бъ даже пеляная лоттерея эта была въ самомъ дѣлѣ вещь

---

* Кто не помнитъ этого слуха во время отечественной войны? Это была выдумка, не выдумка, характеризующая духъ народный: она объяла всю Европу. Я видѣлъ Англійскую картину, изображающую прекрасную казачку съ надписью: Miss Platoff, и внизу: I join my heart to my father's will, т. е. придаю сердце къ волѣ отеческой.

сбыточная — я все таки не вижу, почему бы нашъ Лука Андроновичъ могъ имѣть право на ея руку?

— Не только на ея руку, ротмистръ, на ея обѣ руки, на нее всю съ головы до ногъ, съ душею и сердцемъ и съ богатымъ приданымъ барыша. Да неужели я до сихъ поръ не объявилъ вамъ о славномъ моемъ подвигѣ, о счастливой находкѣ своей? Тамъ, въ темномъ подвалѣ, въ самой трущобѣ, между хламомъ и ломаною мебелью — знаете ли, какой кладъ — открылъ я?

— Вѣрно боченокъ съ водкою или свиной окорокъ, хладнокровно отвѣчалъ поручикъ. Я не знаю, что бы иначе могло до такой степени переболтать всѣ параграфы умственнаго артикула въ головѣ нашей полевой юстиціи!

— О зависть, зависть! вскричалъ Кравченко, поднимая свои телячьи глаза къ потолку. Едва успѣлъ я отличиться, меня заранѣ хотятъ унизить насмѣшками, отбить славу клеветою. Пусть! Развѣ не всѣ великіе люди имѣли такую же участь — да хотя бы и не всѣ?... я тѣмъ не менѣе совершилъ дѣло знаменитое, и завѣрилъ его законными и уважительными свидѣтельствами — теперь никто въ свѣтѣ не оспоритъ, что я этими руками взялъ въ плѣнъ Наполеона!

— Наполеона? вскричалъ поручикъ, вскакивая со стула невольно — Наполеона, который уже два раза ускользнулъ у насъ между пальцевъ, вы сударь, — ты Кравченко — взялъ Наполеона?

— Я, сударь, я самъ взялъ Наполеона съ мясомъ и съ костями! говорю я вамъ... Неужто я не знаю его покляпаго носа, его зеленыхъ глазъ, его синяго мундира и шляпы корабликомъ? Развѣ не двадцать разъ видѣлъ я его — во снѣ и на карикатурѣ! Да вотъ онъ и самъ — лукавый легокъ на поминѣ.

Мы оба очень мало вѣрили проницательности аудитора, еще меньше возможности захватить на этой дорогѣ Бонапарта; но достичь его было самою мѣткою мечтою, самымъ пылкимъ желаніемъ, такъ сказать осью помѣшательства — и въ этотъ разъ, по обыкновенной всѣмъ людямъ слабости къ вѣстямъ самымъ несбыточнымъ, впали въ раздумье. — Чѣмъ чортъ не шутитъ! ворчалъ поручикъ. Легко статься можетъ, что Наполеонъ нарочно кипулся проселками, обманывая погоню! можетъ истребленный батальонъ былъ его конвоемъ!.. Изъ чего бы иначе имъ такъ упорно было драться! Въ такихъ мысляхъ бросились мы къ дверямъ, въ которыя входила толпа нашихъ

— Вотъ онъ, вотъ онъ! шумѣли гусары. Они ужъ вспрыснули побѣду некупленною водкою, и были, что называется, навеселѣ, и еще болѣе расхарахорились отъ увѣреній аудитора. Я первый увидалъ его, ваше благородіе! сказалъ, выступя впередъ, рослый драгунъ. Я первый нашелъ его! воскликналъ другой, пристукивая каблукомъ, чтобъ его не забыли, такъ мочно, что съ потолка надала известь. — Я первый схватилъ его! увѣрялъ казакъ... Я вытащилъ, я держалъ за руку, за ногу, за шею! кричали другіе... Безъ насъ онъ бы далъ стречка, вопіяли третьи. — Я велѣлъ всѣмъ молчать.

— Подведите-ка плѣнника ближе къ огню.

— Бросьте въ огонь — только дайте мнѣ росписку, что получили отъ меня Наполеона въ цѣлости, ворчалъ аудиторъ сквозь зубы.

Плѣнникъ приблизился — и мы съ жадностію, почти съ трепетаніемъ страха и надежды, устремили на него глаза: передъ нами стоялъ тамбуръ-мажоръ какого-то егерскаго Французскаго полка, съ преглупою и вмѣстѣ съ прежалкою рожею; общипанный мундиръ съ полинявшими галунами, треугольная шляпенка на головѣ, и на ногахъ, вмѣсто сапоговъ, Русскія рукавицы — вотъ, въ какомъ видѣ

вателя. Надобно къ этому прибавить, что, изъ бѣгнувъ побоища, онъ былъ блѣденъ, какъ смерть, исключая носа, изъ котораго и самъ страхъ не могъ выжать виннаго румянца. Онъ трепеталъ всѣмъ тѣломъ — потому что солдаты въ жару патріотизма, провожали барабанаго императора, кажется, не однѣми угрозами.

Мы покатились со смѣху. Аудиторъ между тѣмъ, выставя одну ногу впередъ, и водя чуть не по лицу плѣнника указательнымъ пальцемъ, началъ разбирать его по частямъ.

— Видите ли вы этотъ желтый, пергаменный лобъ, на которомъ написаны его сатанинскіе замыслы? видите ли этотъ ястребиный носъ, который за тысячу верстъ чуетъ добычу? видите ли зеленые, какъ у змѣя, глаза, которыми онъ на яву морочитъ человѣка, эти коротенькія руки съ длинными когтями, это крутое брюхо, которое было несыто, — проглотивъ цѣликомъ Европу?... Видите ли, что у него на лицѣ написано, число 666, онъ же есть Антихристъ, сирѣчь Аполіонъ, то есть, Наполеонъ Бонапартъ?

— Прокатись-ка верхомъ, любезный Лука Андроновичъ, на этомъ плѣнникѣ — ты будешь — точно грѣхъ на звѣрѣ Апокалипсиса!

— Не подъ сѣдло, а подъ нозѣ Русскихъ

надо низвергнуть этого сопостата. Зачѣмъ ты напалился на Русь съ двудесятью языкъ? Говори, отвѣчай! не запинайся! вскричалъ аудиторъ: признайся... кто у тебя были на Руси сообщники?

Бѣдняга тамбуръ-мажоръ стоялъ ни живъ, ни мертвъ, и дрожалъ словно осиновый листъ, видя, какъ вступится около него аудиторъ, котораго безъ сомнѣнія онъ считалъ по крайней мѣрѣ главнымъ начальникомъ отряда. »Mon capitaine, mon colonel, mon général« твердилъ онъ ему при каждомъ словѣ, прося пощады; но тотъ не хотѣлъ принимать отъ Корсиканскаго выходца ни даже маршальскаго достоинства. Наконецъ намъ стало жаль этого конѣчнаго Наполеона — и я, попрося нашего героя успокоиться—сказалъ ему, что онъ очень ошибся въ своемъ призвѣ — что это ни больше, ни меньше, какъ Французскій тамбуръ-мажоръ, т. е. почти барабанный староста.

— Хитрости, притворство, лицемѣріе! воскликнулъ нашъ аудиторъ: вотъ еще новости — тамбуръ-мажоръ! По барабану этого старосты плясала вся Европа — такъ пускай теперь сплящетъ по нашей дудкѣ. Какъ ты ни зовись, мусье Наполеонъ, чѣмъ ты ни прикидывайся, а не миновать тебѣ желѣзной клѣтки, какъ Пугачеву: будешь въ птичьемъ ряду

въ Москвѣ на потѣху ребятишкамъ! Вы, г-нъ ротмистръ, какъ я усматриваю, хотите вмѣшать отечеству и отпустить этого Антихриста — такъ знайте, что если это сбудется, я донесу обо всемъ высшему начальству. Будьте увѣрены, я возьму свое... ни пенсія, ни придапое не ускользнутъ отъ моихъ рукъ!

Я вовсе не былъ расположенъ сердиться, и потому очень скромно, однако жъ твердо сказалъ ему, чтобы онъ не вмѣшивался въ мои распоряженія; что если мнѣ дана власть, то само собой разумѣется, возложена за нее и отвѣтственность, только не передъ нимъ; что по окончаніи набѣга, онъ можетъ доносить, что угодно и кому угодно, но когда будетъ писать объ этомъ приключеніи — то не худо бы прибавить туда статью: что онъ, г-нъ аудиторъ 12 класса, представленный къ ордену св. Анны 3-й степени, былъ не въ полномъ разумѣ.

— Эта статья будетъ излишня, замѣтилъ поручикъ, пуская ему подъ носъ клубы дыму: и безъ нея никто въ этомъ не усомнится. Впрочемъ, я не знаю, любезный ротмистръ, почему бы не послать въ главную квартиру Луку Андроновича курьеромъ вмѣстѣ съ этимъ Наполеономъ — они развеселили бы всю ар-

Аудиторъ принялъ это за чистыя деньги, и вытянулся, какъ фельдъегерь, готовый получить подорожную. Но я въ такомъ же тонѣ возразилъ, что, по недостатку въ нашемъ отрядѣ хлѣба и водки, для насъ самихъ необходимо подобное обольщеніе. Я велѣлъ между прочимъ стеречь этого плѣнника, да осмотрѣть его.

— И всенепремѣнно осмотрѣть! вскричалъ аудиторъ: говорятъ, сопостатъ завсегда носитъ въ перстнѣ ядъ. Умри онъ — такъ и поминай какъ звали дочь Платова, невѣсту мою.

— Разумѣется, осмотрѣть, примолвилъ насмѣшливо поручикъ: того и гляди, что у него носъ заряженъ картечью — сохрани Боже, чихнетъ, такъ и жениху не уйти.

— Мы ужъ и то обшарили его до самой кожи, ваше благородіе, отвѣчалъ одинъ изъ гусаръ: да ничего не нашли въ карманахъ, кромѣ двухъ накрахмаленныхъ воротниковъ и фабренной щеточки!

Разсерженный аудиторъ усѣлся въ углу, что-то ворча про себя. Плѣнника увели очень довольнаго, что избѣгнулъ побоища по счастливой ошибкѣ. Мы съ поручикомъ усѣлись у огня. Не прошло пяти минутъ, къ намъ опять тащатъ другаго плѣнника: казаки, которые чуютъ золото лучше всякаго горнаго о-

фицера, то пробуя шомполомъ стѣны и полъ на звукъ, то наливая воду на землю, чтобы угадать по тому, скоро или медленно она всасывается ее — не варыта ли она недавно, то перерывая даже золу въ печкахъ — казаки, говорю, вытащили съ чердака экономa замка, предобраго старика. Ободривъ его ласковыми словами, мы отъ нечего дѣлать принялись его распрашивать, чей это замокъ, и то и се, и пятое, и десятое. Вотъ вамъ въ короткѣ, что разсказывалъ дворецкій.

— Помѣстье Треполь родовое князей Глинскихъ. Послѣдній изъ нихъ, Паримунтъ Глинскій, мой добрый старый господинъ — помяни Богъ душу его, имѣлъ дочь Фелицію панну, такую красавицу — что загляденье. Жениховъ около нея вилось, словно пчелъ около майскаго розана, только она отъ нихъ отшучивалась, видно жила ей казалась воля дѣвическая. Въ околоткѣ, года за три до этого, расположена была Русская артиллерійская рота... Ею командовалъ капитанъ... дай Богъ памяти, имя такое мудреное, что нейдетъ ни въ умъ, ни изъ памяти. Собою былъ онъ человѣкъ рослый, видный — молодецъ лицемъ и поступью, а ужъ сердцемъ, да обычаемъ, такъ что твоя красная дѣвушка! онъ стоялъ

въ замкѣ . . . съ панной Фелиціей бывалъ съ утра до поздняго вечера . . . Молодежь-то крѣпко полюбилась другъ другу, да и самъ князь былъ не прочь сыграть свадьбу, благословить дочь за капитана: онъ страхъ любилъ Русскихъ: все бывало говаривалъ, что онъ самъ Русской крови. Вотъ ужъ дѣло пошло и на ладахъ. Капитанъ былъ повѣщенъ женихомъ панны Фелиціи: онъ и она были чуть не въ небѣ отъ радости; да и вся дворня и хлопы, не то что сосѣди, не нарадовались, что у нихъ будутъ такіе добрые господа. На бѣду ли, на грѣхъ, передъ самымъ шлюбомъ (свадьбою) пишетъ мать капитану, что она больна и хотѣла бы благословить его своей рукою, на совѣтную жизнь и на всякое счастье... Капитанъ сверпулся мигомъ въ дорогу . . . слезъто, слезъ было на растапьяхъ, что не приведи Господи — видо вчужѣ сердце разрывалось. Панна Фелиція упала въ обморокъ, когда онъ сѣлъ на коня — вѣтеръ замелъ слѣды его на пескѣ — Богъ не судилъ жениху воротиться. Здѣсь жилъ то же дальній родственникъ старому князю, графъ Остроленскій. Лицемъ, нечего сказать, красавецъ — за то душею вьюнъ; онъ опуталъ старика свѣтью шелковою, да и къ жениху подналъ онъ такимъ другомъ — что ни тотъ, ни другой не пили, не ѣли безъ

него. Прежду тѣмъ онъ изъ подтишка бол
но зарился на панну Фелицію, и спрятал
въ сердцѣ досаду, когда капитанъ оторвалъ
него отъ губъ подѣпечную чару. Чуть уѣхал
капитанъ, грабе сталъ разсыпаться мелким
бѣсомъ пуще прежняго: улещаетъ старика
плачетъ словно отъ луку съ невѣстою. Уж
не вѣдаю, какъ это сталось, только мы стал
получать отъ капитана письма день ото дня рѣ
же, и съ часу на часъ холодѣлъ къ нему ста
рый князь Парнмунтъ. Вѣстимо, панове, дѣл
заглазное; оправдать его было некому, а на
говаривать на далекаго нашлись добрые лю
ди. Грабе, какъ жаба, лежалъ у старика н
ухѣ. Вотъ и совсѣмъ перепала вѣсть о женн
хѣ; мѣсяца съ четыре ни слуху, ни духу, ни
загадочки. Панна Фелиція не осушала очеі
на солнышкѣ: сидитъ, бывало, въ своей ком
натѣ подъ окномъ, глядитъ на дороженьку
да горюетъ бѣдняга. Привозитъ однажды ѣздо
вой изъ города почту. Господа въ то врем
сидѣли за столомъ тихо, печально, словно н
похоронахъ. Только нашъ грабе шутилъ
смѣялся, чтобы развеселить гостей. — Подал
ѣздовой князю связку писемъ — на верху од
но съ черною печатью. Открылъ князь, про
челъ его, и молча, передалъ дочери... И
успѣла та заглянуть въ него — вдругъ по

блѣдпѣла, какъ платокъ: то была страшная вѣсточка для невѣсты — женихъ ея умеръ.

— Время текло у насъ тише воды; въ гостиныхъ было, какъ на кладбищѣ. Не прошло полугода — слышимъ: объявляютъ, что панъ грабе Остроленскій женится на нашей кеженжичкѣ (княжнѣ)! У дѣвушекъ коротка память, панна Фелиція однако жъ не забыла прежняго милаго: ее принудили выбрать другаго. Отецъ твердилъ то и дѣло: я не проживу долго; дай себя увидѣть не сиротою; выйди, да выйди за мужъ за грабія: надо было потѣшить отца на старости лѣтъ. У насъ отпраздновали свадьбу. Нечего и говорить, что всего было вдоволь, всего кромѣ радости — про любовь ни помину. Не прошло мѣсяца, все оборотилось у насъ вверхъ дномъ. Пану грабе нужно было не сердце, а приданое Фелиціи. Старикъ отдалъ ему полную волю въ домѣ и въ имѣньѣ, да и сталъ у себя первымъ невольникомъ. Никому не стало житья отъ новаго господина. Онъ сбилъ со двора даже старыхъ собакъ, не то что покоевцевъ и ловчихъ. А ужъ глядѣть на нашу милую пани Фелицію — такъ сердце кровью заливается: что-то, чего она не перенесла отъ злости мужа! Попреками, да укорами отравлялъ онъ ей каждую ложку за обѣдомъ, и

наконецъ до того мучилъ ее, что заставилъ
принимать къ себѣ свою отъявленную любов
ницу — настоящую змѣю подколодную, кот
рая, бывало, спитъ и видитъ, какъ бы ого
чить нашу голубку своею наглостью. Бѣдн
графиня сохла, какъ былинка на камнѣ, тих
какъ свѣча воску ярого — плакала передъ с
нимъ Напомнъ-Богомъ, и молчала передъ з
брыми людьми. Правду сказать, добрые лю
скоро покинули замокъ нашъ — ворота зар
сли травою и двери въ столовой приржавѣ
къ петлямъ — Богъ снялъ свое благословен
съ маіонтка княжаго послѣ смерти стари
Наримунта. То дождь вытопитъ луга, то гра
побьетъ хлѣба, то звѣрь попортитъ стадо;
карты, эта бѣсовская грамота, разсыпали
чужимъ карманамъ дѣдовское серебро и зол
то. Напировавшись со своими панибратами
сыта, граф стала уважать, Богъ вѣсть куд
Настала осень и желтый листъ засыпалъ дор
жки сада — однако барыня, не глядя на н
теръ, бродила по немъ будто на прощанье с
Божьимъ свѣтомъ. Въ одинъ день въ сумер
(тутъ дворецкій оглянулся во всѣ стороны,
увѣрясь, что его никто не подслушиваетъ
перекрестился — и, понизивъ голосъ, продо
жалъ) — это разсказывалъ мнѣ покоевецъ
который завсегда издали ходилъ за нею

Въ одинъ день въ сумерки, она возвращалась тихими шагами въ замокъ — печальна, блѣдна, потупивъ голову . . . какъ вдругъ передъ ней сталъ всадникъ на вороной, какъ воронье крыло, лошади . . . Покоевецъ присягалъ на свою душу, что всѣ двери сада были заперты накрѣпко, и что онъ не слыхалъ ни топоту, ни ржанія копскаго — онъ явился какъ тѣнь, спрыгнулъ долой и схватилъ графиню за руку. Между тѣмъ, какъ перепуганный покоевецъ стоялъ какъ вкопаный, — всадникъ что-то тихо и долго говорилъ съ нею . . . что-то похожее на поцѣлуй раздалось въ потьмахъ — и вдругъ графиня застонала пронзительно . . . когда слуга подбѣжалъ къ ней, чернаго всадника ужъ не было! На утро не нашли даже копскихъ слѣдовъ по дорожкамъ сада. Спрашивать о томъ графиню никто не смѣлъ; сама она молчала. Когда сй послѣ этого испуга предложили лакарства, она отвѣчала, что все напрасно . . . что она знаетъ навѣрное часъ своей смерти, и что едва прорѣжется рогъ у новаго мѣсяца, ея не станетъ. Съ той поры въ каждую пятницу сиживала она по вечерамъ въ этой самой комнатѣ, одна одинехонька съ своею собачкою, до поздней ночи, безъ свѣчекъ . . . и словно съ кѣмъ разговариваетъ. Здоровье ея стало на закатѣ, часъ отъ часу

плоше: похудѣла хоть насквозь гляди, и на
на ущербѣ мѣсяца сей стало очень трудно —
все еще на ногахъ бродила. Въ четверт
пятницу она опять пришла сюда сидѣть у о
го окошка и глядѣть на поле, покрытое сн
гомъ. Было ужъ 11 ночи . . . Вдругъ и
ея ближніе послышали: кто-то сходитъ тяж
лой стопой на лѣстницу. Что за диво! и
ружныя двери и самъ заперъ крѣпко на крѣ
ко. Слушаемъ: чудится, будто графиня
кѣмъ-то разговариваетъ . . . тише, тише, т
ше — все утихло. Со страхомъ вбѣжали
компату ея панны: глядь, графиня лежитъ
софѣ въ обморокѣ . . . Назавтра по утру пр
ѣхалъ графъ изъ Вильны, и въ слѣдующу
ночь — когда блеснулъ ноготокъ молода
мѣсяца — она скончалась. Радость, котору
панъ не хотѣлъ и скрывать . . . муч
тельная кончина графини такъ скоро пос
его пріѣзда и синія пятна, проступившія
лицѣ покойницы — все это, панове, свело
него подозрѣнье, будто графиня умерла от
яду. И то сказать: кого не любятъ за дѣл
на того сплетаютъ и небылицы . . . Богъ с
дья, правда ли это; осудитель Богъ, если эт
правда! Только графъ, едва переждавш
три мѣсяца послѣ похоронъ, женился на пр
жней своей любовницѣ. Сказывали, что и

кладбищѣ у кляштора, гдѣ положена графиня Фелиція, три раза послѣ того являлся черный всадникъ, невѣдомо откуда, скрывался невѣдомо куда. Такъ прошло два года. Грабе нашъ, схоронивъ съ первой женою совѣсть послѣднюю, разорилъ крестьянъ, измучилъ всѣхъ насъ и наконецъ отослалъ въ землю и вторую жену. Послѣ этого, слава пану Богу, онъ уѣхалъ служить во Францію, и съ тѣхъ поръ мы не видали его до вчерашняго дня: онъ воротился бѣглецомъ изъ Москвы, какъ разъ возмутилъ всю околицу, скликалъ шляхту, вооружилъ неволею слугъ и хлоповъ своихъ, чтобы драться противъ Русскихъ, до смерти: ему вѣстимо не жить въ родинѣ — имѣнья и добраго имени не выкупить изъ чернаго долга. Вы видѣли, что онъ рубился на пропалую. Однако жъ у него въ саду заготовлена была лошадь для побѣгу, и паны сказывали, что панъ ускакалъ, когда увидѣлъ бѣду неминучую. Дай панъ Богъ, чтобы онъ никогда къ намъ не ворочался!

Старикъ кончилъ. Я успокоилъ и выслалъ его.

Аудиторъ спалъ въ углу, сидя, мертвымъ сномъ; поручикъ сидѣлъ въ глубокой думѣ передъ *каминомъ*. Простой разсказъ дворец-

ведливо жалуются писатели, будто мы живем
не въ романическомъ вѣкѣ! сказалъ я. Пус
загляните въ деревни, въ маленькіе городк
гдѣ еще не истерлась характерность и ос
бенность съ лицъ, и они найдутъ неисче
паемый источникъ, ключъ прямо Русскій, с
мородный, безъ примѣси. Притомъ, поку
существуютъ страсти и слабости, развиваем
обстоятельствами или связанныя узами прил
чія, человѣкъ всегда будетъ любопытенъ, з
нимателенъ для человѣка; — каждый вѣ
только обновляетъ новыми образами серд
Я увѣренъ, что, перебравши тайныя предан
каждаго семейства, въ каждомъ можно най
множество разнообразныхъ происшествій
случаевъ необыкновенныхъ. Сколько ужасов
схоронено въ архивной пыли судебныхъ л
тописей! — но во сто разъ болѣе таится их
въ самомъ блестящемъ обществѣ! Я зна
многихъ, которые подписывали чуть не смерт
ные приговоры съ гордымъ лицемъ, на кото
ромъ бы должно лежать заслуженное клеймо
отверженія; я зналъ людей, которые громко
вопіяли противъ порока, и не заглушили тѣмъ
голоса сознанія въ собственныхъ злодѣяні
яхъ!! Но оставя умышленное, сколько еще
остается случаевъ отъ невѣдѣнія, отъ неопыт-

Онъ былъ изъ числа тѣхъ людей, которыхъ мы привыкли называть мечтателями: отъ самой шумной веселости, отъ самаго насмѣшливаго разговора отпадалъ онъ вдругъ въ глубокую думу, въ грусть неразвлекаемую, и тогда вы бы сказали, глядя на его неподвижныя очи, что предъ вами одинъ трупъ его, а душа улетѣла. Въ другое время напротивъ, вы бы могли видѣть на лицѣ его всю игру мыслей, какъ работу пчелъ въ стекляномъ ульѣ. Въ этотъ разъ онъ будто пробѣгалъ даль: то словно самъ чего-то бѣжалъ съ робостію, то улыбался младенчески.

— Другъ! сказалъ я, тихонько ударивъ его по плечу: вѣрно душа твоя была теперь въ домовомъ отпуску?

— Правда, отвѣчалъ онъ, очнувшись: тишина и сумерки стелютъ моему воображенію мостъ на родину. Разсказъ этого старика освѣжилъ во мнѣ многія картины изъ моего младенчества, изъ моей юности. Но всего болѣе эта унылая пѣсня сырыхъ дровъ, это завыванье трубы, словно призывъ какого-то великанскаго рога, напомнили мнѣ старину, когда, лежа въ постели, я любилъ слушать вѣтеръ, *стонущій сквозь трубу печки. Чугунная вьюшка звучала*, какъ далекій погребаль-

ный колоколъ, и зимняя вьюга, сыпля иглами инея въ стекла, разсыпалась едва слышною гармоникою. Какой-то новый міръ, вовсе незнакомый, ощутительный, но безвидный, обнималъ меня; какія-то чудныя существа тѣснились къ душѣ... мнѣ казалось, я слышу лепетъ ихъ крыльевъ, шумъ стопъ, жаръ дыханія, непонятный ихъ говоръ; еще болѣе... порою предо мной вились, сверкали, огнились символическія ихъ письмена, которыя вмѣстѣ были и буквами и живыми образами; самые звуки принимали на себя какую-то неопредѣленную форму. Не умѣю выразить, что бывало со мной въ этой дремотѣ: я трепеталъ, какъ струна, издающая божественный голосъ; томный и вмѣстѣ сладостный ужасъ пробѣгалъ по моимъ жиламъ: я хотѣлъ постичь его, и болѣзненно сознавался, что природа не дала самой душѣ органовъ для вкушенія этого безъименнаго чувства; на меня находила тогда тоска; я походилъ на человѣка, который страстно любитъ музыку, и страждетъ случайною глухотою. Бывало, завернувши въ одѣяло голову, изъ подобнаго состоянія я перели-

рилъ, какъ Демосоенъ, читалъ невѣдомыя, прелестнѣйшія поэмы, но отъ нихъ при пробужденіи оставались во мнѣ только ощущеніе восторга, только слеза умиленія. То ли еще: я леталъ птицею въ безднахъ, я плавалъ какъ рыба, я какъ воздухъ проницалъ въ глубь земли. Мнѣ видѣлось, что я могъ глядѣться въ душу свою, и чужія рѣчи и мои мысли вставали, проходили передо мной, въ очью совершались, какъ говорятъ Русскія сказки. Особыя мѣста дѣйствія, особый кругъ знакомства, особенное родство имѣлъ я въ сонномъ мірѣ своемъ: но каковъ былъ онъ, но кто эти знакомцы и родные? память моя не могла схватить, пробудившись совершенно. За то всякой разъ склоняя голову на подушку, я обнималъ ее, какъ друга чародѣя, который унесетъ меня къ милымъ.

Отрадно плыть во снѣ туманной Летой,
Забывъ часовъ бряцающую мѣдь;
Въ видѣніяхъ пожить внѣ жизни этой,
И безъ кончины умереть!!

Моралисты сулятъ покой несчастнымъ за дверью гроба: зачѣмъ ходить такъ далеко? Сонъ есть лучшій уравнитель въ жизни. Когда вздумаешь, что царь и послѣдній подлецъ, богачъ и бѣднякъ, одинаково прово-

дять треть сутокъ, первые не пользуясь своими преимуществами, послѣдніе забывая свое горе, — то какое-то утѣшительное чувство проникаетъ душу. Я еще допустилъ, что счастливецъ и несчастный проводятъ одинаково пору сна — но обоимъ ли имъ стелетъ постель усталость и чистая совѣсть! Не сидитъ ли часто раскаяніе у золотошвейнаго изголовья — не дарятъ ли воображеніе царскими снами бѣдняка?

Ты спросишь, откуда пробился ключъ этихъ наслажденій моихъ? это перемѣщеніе сонныхъ призраковъ въ явную жизнь, и дѣйствительныхъ вещей въ сонныя мечтанія? Мнѣ кажется, этому виною было раннее вѣрованіе въ привидѣнія, въ духовъ, въ домовыхъ, во всѣхъ гражданъ могильной республики, во всѣхъ снѣжныхъ сынковъ воображенія мамушекъ, нянюшекъ, охотниковъ-суевѣровъ — столько же и раннее сомнѣніе во всемъ этомъ. Нянька разсказывала мнѣ страхи съ такимъ простосердечіемъ, съ такимъ внутреннимъ убѣжденіемъ — родители и учители въ свою очередь говорили про нихъ съ такимъ презрѣніемъ и самоувѣренностію, что я безпрестанно волновался между разсудкомъ и предразсудкомъ, между заманчивою прелестью чудеснаго и строгими доказательствами истины. Ку-

да былъ перевѣсъ: на сторону ли впечатлѣнія или на сторону убѣжденія — угадать не трудно. Правду сказать, человѣкъ всегда предпочитаетъ то, чего онъ не можетъ постичъ, тому, чего постичъ нѣтъ ему охоты. Эта борьба однако же, не истребивъ совершенно моей наклонности къ чудесному, отняла у него пеструю одежду, въ которую облекло его народное суевѣріе. Разумѣется, чѣмъ болѣе мужалъ мой разсудокъ, — тѣмъ примѣтнѣе вліяніе чудеснаго на меня уменьшалось: образы его блѣднѣли, блекли, исчезали, сливались съ пространствомъ, какъ утренніе туманы — но вѣришь ли? до сихъ поръ бываютъ минуты, въ которыя готовъ я почти увлечься повѣрьями моего дѣтства. И какъ я люблю переживать вновь годы этого дѣтства! Весна моя расцвѣтаетъ въ памяти чудными цвѣтами, причудливыми цвѣтами — со всѣмъ ихъ благовоніемъ, со всею свѣжестію красокъ; — я наслаждаюсь тогда даже минутными ужасами — и вамъ ли странность! это осуществленіе минувшаго случается со мной наиболѣе послѣ сильныхъ движеній души или тѣла, послѣ сильныхъ потрясеній. — Кажется, что ослабнувшія струны организма способнѣе принимать ладъ нѣжныхъ лѣтъ нашихъ, и отъ малѣйшаго повѣва помнка звучать знакомую, любимую пѣсню.

Однако жъ разсказъ старика дворецкаго разбудилъ въ душѣ моей не одни полуясныя, неопредѣленныя воспоминанія. Нѣтъ! онъ оживилъ происшествіе, очень подобное имъ разсказанному, происшествіе, близкое моему сердцу. Не сказка и не выдумка, слѣпленная на потѣху пріятелей, будетъ повѣсть моя: въ ней отъ слова до слова — все истина.

— Дѣдъ мой съ матерней стороны былъ князь Х—ій: я будто въ просонкахъ вижу его темную, суровую физіогномію, его высокій ростъ . . . его жестокій голосъ. Не знаю, отъ чего — только я боялся его ребенкомъ, какъ нельзя болѣе. Какъ ты хочешь, и мнѣ кажется, природа одарила всѣхъ тѣхъ инстинктомъ, въ которыхъ не развила разума, и дитя, находясь въ этой категоріи, почти всегда безошибочно угадываетъ въ каждомъ встрѣчномъ друга, или недоброхота. Князь былъ, можно сказать, неистоваго нрава — гордъ своимъ родомъ и богатствомъ въ обществѣ, невыразимый деспотъ въ семействѣ. Какъ наибольшая часть воспитанниковъ стараго вѣка, онъ людей считалъ средствами для своихъ выгодъ, дѣтей — куклами для забавы; сохрани Богъ, чтобъ они осмѣлились думать, не только поступать, иначе, какъ по его волѣ, то есть по его прихоти. У него были два сына и дочь.

Онъ успѣлъ подавить въ первыхъ великое благородное чувство, великую вспышку разума — и они зачерствѣли въ своемъ невольномъ ничтожествѣ, въ своемъ вѣчномъ ребячествѣ. Ихъ отправилъ онъ на службу въ столицу. Совсѣмъ другое сталось съ дочерью. Угнетеніе, уничиженіе, подъ которыми держали ее, — пробудило въ ней гордую душу, которая безъ того никогда бы, можетъ быть, не проснулась. Она почувствовала и увѣрилась, что правда и добро могли существовать и внѣ рѣчей, внѣ поступковъ отца ея. Случай способствовалъ этому развитію.

Лиза потеряла мать еще въ ту пору, когда не могла вполнѣ оцѣнить этой потери, именно потому самой великой. Отецъ не удостоивалъ заниматься ея воспитаніемъ. Онъ думалъ, что совершилъ великое благодѣяніе, платя мадамамъ, и навербовавши къ ней кучу учителей — безъ выбору и безъ призору. Нѣжность его ограничивалась тѣмъ, что онъ утромъ и вечеромъ допускалъ дочь къ ручкѣ своей, да всякой мѣсяцъ дарилъ ей на булавки.

Въ числѣ учителей Лизы пріѣхалъ изъ Москвы недавно выпущенный изъ университета адъюнктъ Баиновъ. Онъ былъ очень статный, умный, добрый юноша; дворянинъ небогатый, но стоющій богатства. Лизѣ было тогда 15

лѣтъ, и онъ съ жаромъ принялся за ея образованіе: уроки были наслажденіемъ для обоихъ. Она радовалась познаніямъ — онъ успѣхамъ своей ученицы. Ничего нѣтъ чище, возвышеннѣе, святѣе удовольствія, какое чувствуемъ мы, передавая, вперяя благородныя чувства и свѣтлыя мысли другимъ. Тогда мы привязываемся къ нимъ любовью отеческою; и въ самомъ дѣлѣ: вложить въ человѣка душу разумную, добрость живую, не значитъ ли создать, родить его для добродѣтели и не цѣннѣе ли это родство родства тѣлеснаго, не священнѣе ли самыхъ узъ крови? . . .

Однако жъ скоро, хоть не замѣтно для неопытныхъ, вмѣшалась въ ихъ дружество душевное любовь болѣе нѣжная, болѣе страстная, любовь сердца. Минуло четыре года... ученіе кончилось . . . и любовники тогда лишь узнали, — что взаимность для нихъ не только счастіе жизни, но самая жизнь . . . когда судьба погрозилась разлучить ихъ. Въ одну и ту же минуту они испытали вѣсть разлуки и признаніе въ любви, первый поцѣлуй восторга и первыя горькія слезы печали. — Они поклялись быть вѣрными до гроба, это ужъ такъ водится искони: для молодыхъ людей все кажется легко — для любовниковъ все возможно.

Они не знали, съ кѣмъ имѣли дѣло.

Старику Х — му наскучило нянчиться съ дочерью. Она была невѣста, и, что всего важнѣй, невѣста богатая: мать отказала ей одной все свое приданое, все движимое и недвижимое. Однако, желая сбыть съ рукъ дочь, ему не хотѣлось разстаться съ ея имѣніемъ, и вотъ для чего удалялъ онъ отъ Лизы женихов, которые по уму или по связямъ своимъ могли бы потребовать у него и наличнаго, и отчета за прежнее управленіе.

Сгадалъ, рѣшилъ и выбралъ въ зятья какого-то князька — сидня, весьма ограниченнаго умомъ, ничтожнаго родомъ. Онъ далъ слово, не спросясь, даже не предувѣдомивъ дочери. Черезъ три дня надо было играть сговоръ, а она не знала о своей участи ни сномъ, ни духомъ. Наконецъ онъ объявилъ ей повелѣніе выйти замужъ, и готовиться къ свадьбѣ самымъ безпрекословнымъ образомъ. Онъ споткнулся на этомъ вовсе неожиданно: характеръ дочери открылся вдругъ въ полной силѣ! Подкрѣпленная взаимною любовью, она дерзнула почтительно, но твердо, сказать отцу, что считаетъ союзъ супружескій святынею, которая требуетъ любви сердечной къ мужу... а потому она не иначе отдастъ руку свою, какъ вмѣстѣ съ сердцемъ; сердце же ея отдано *Баянову, ея воспитателю*; — она прибави-

ла, что ни какія убѣжденія не принудятъ ее перемѣнить даннаго обѣта — быть его женою или вѣчно остаться его невѣстою. Вы дали мнѣ жизнь, батюшка, сказала она: но Богъ далъ мнѣ душу: располагайте первою — но позвольте мнѣ сохранить для себя вторую — и кому лучше могу я посвятить ее, какъ не человѣку, посвятившему лучшіе годы своей жизни на мое образованіе съ такимъ усердіемъ, съ такимъ горячимъ самоотверженіемъ?

Говорятъ, князь послѣ этого объясненія нѣсколько минутъ стоялъ неподвиженъ и безмолвенъ отъ изумленія . . . гнѣвъ задушилъ въ немъ голосъ. Можно представить себѣ, что почувствовалъ человѣкъ, привычный къ безусловному повиновенію отъ всѣхъ, къ нему близкихъ, который съ роду не слыхалъ слова: нѣтъ! и вдругъ пораженъ былъ имъ такъ внезапно, такъ больно!! Вся его гордость, всѣ его выгоды и понятія, всѣ замыслы его оборочены были вверхъ дномъ — и кѣмъ же? дѣвочкою, — дочерью!

Взрывъ былъ ужасенъ, угрозы и брань полились на несчастную: какъ смѣла она имѣть свой умъ, взять свою волю! Судъ коротокъ — онъ заперъ ее въ темную комнату на хлѣбъ и на воду.

Учителя Баянова велѣлъ онъ выбросить изъ

замка вмѣстѣ съ его вещами, не позволивъ показаться на глаза. Бѣшенство его выѣстилось на всѣхъ домашнихъ: и безъ того всѣ трепетали его голоса, его взгляда — а послѣ этого случая половина слугъ разбѣжалась отъ его жестокости, незнающей границъ, незнакомой съ пощадою. Онъ свирѣпствовалъ, какъ звѣрь.

Время шло; но оно не переѣвило ни упорства отца, ни постоянства дочери. Съ своей стороны, влюбленный Баяновъ, не смотря ни на какія угрозы, презирая опасности, обманывая надзоръ, старался проникнуть до темницы своей любезной — и долго, долго напрасно. Мало по малу однако жъ, ему удалось деньгами склонить на свою сторону одного изъ тюремщиковъ. Золотой дождь по каплѣ пробиваетъ даже камень. Ему доставили случай видѣться съ Лизой, и минуты, которыя провели они вмѣстѣ послѣ долгой разлуки, не смотря на мечъ, висящій надъ головою, были самыми счастливыми въ ихъ жизни, потому что вѣрность въ такую мучительную годину испытанія получаетъ высшую цѣну, и каждый мигъ, вырванный изъ львиныхъ челюстей опасности, тѣмъ сладостнѣе, чѣмъ короче; тѣмъ ближе къ восторгу, чѣмъ ближе къ гибели. Скоро почувствовала заключенница, что существо ея

удвоилось. Какое святое чувство вложила [redacted] насъ природа къ обновленію! Какое сердц[redacted] не трепетало радостью при мысли: и я стан[redacted] матерью! при вѣсти: ты отецъ! Въ такія ми[redacted] путы забыты всѣ страхи, всѣ расчеты!!

Наши любовники были счастливы на зло судьбѣ — и это самое придало имъ смѣлости, самой надежды. Тутъ уже дѣло шло не о нихъ самихъ, но объ имени, о счастіи третьяго, драгоцѣннаго для нихъ залога. Они приготовились къ побѣгу. Они согласились исполнить свое намѣреніе, когда отецъ уѣдетъ на три дня въ отъѣзжее поле.

Онъ уѣхалъ.

Переодѣтый въ кучерское платье, проникъ Баяновъ въ тюрьму Лизы ночью. Дневальный тюремщикъ былъ подговоренъ бѣжать вмѣстѣ; лихая тройка ждала ихъ за частоколомъ сада — оставалось только удачно выбраться изъ дому. Баяновъ засталъ свою невѣсту на колѣнахъ передъ образомъ. Кончивъ молитву, она кинулась въ объятія къ милому, но долго не могла промолвить слова, заливаясь сле-

шея будто стиснуто желѣзною рукою — что предчувствуетъ вѣрную, неминучую гибель. Баяновъ разумѣется, утѣшалъ, ободрялъ, уговаривалъ ее; доказывалъ, что предчувствія не что иное, какъ робость; что откладывая удобный побѣгъ, они накличутъ себѣ не только въ каждомъ человѣкѣ, да въ каждомъ часу непріятеля, — а что всего важнѣе, священникъ ждетъ ихъ въ церкви.

Она уступила.

Черезъ садъ въ повозки — и ударили по всѣмъ по тремъ.

Дѣло было въ началѣ ноября. Рыхлая пороша чуть подернула нашій листъ дубравы. Я и забылъ тебѣ сказать, что все это происходило въ К . . . губерніи, въ усадьбѣ князя, называемой Шураиъ; лежитъ она надъ Камою, при большой дорогѣ въ Оренбургъ: мѣсто преживописное; барскій домъ на холмѣ; дѣдовскій темный садъ шумитъ угрюмо на берегу; вправо... да не о томъ дѣло. Глухая ночь лежала надъ Шураномъ, когда наши бѣглецы оставили его. Проселочная дорога къ далекой, уединенной церкви пролегала дремучимъ лѣсомъ, и мѣстами совсѣмъ склонялась на крутой берегъ Камы. По Камѣ шелъ тогда ледъ и съ печальнымъ звукомъ ломался другъ о друга. Двѣ тройки мчались быстро, но едва слышно — коле

са нарочно были обвиты кушаками. Припавъ къ груди Баянова, для котораго пожертвовала всѣмъ на свѣтѣ, Лиза едва дышала. Часъ этотъ былъ для нея, какъ часъ передъ казнью преступника — онъ еще не мертвый, но ужъ и не живой: можетъ ли онъ наслаждаться жизнію, когда смерть впустила въ него когти свои? такая отсрочка хуже пытки; — такая безчеловѣчная милость жесточе казни самой. Но едваль не еще несноснѣе, когда неожиданное счастіе разманитъ насъ — и вдругъ готово исчезнуть! Пусть непредвидѣнная бѣда поражаетъ, какъ пуля, бѣда, передъ которою идетъ предчувствіе, терзаетъ, какъ ядъ жестокій. Въ такомъ точно положеніи были оба наши любовники. Они молчали, потому, что ни одинъ не могъ найти слова утѣшительнаго; земля звучала подъ колесами, будто сводъ могильный; вѣтки сыпали на лице иней, и корни заплетали имъ дорогу.

Все кругомъ было въ смертной тишинѣ; только порой спугнутый филинъ страшно гукалъ въ чащѣ, хлопая тяжелыми крыльями, или трещалъ изломанный сукъ. Они благополучно добрались до деревенской церкви, верстъ за 15 отъ Шурана. Въ ней привѣтно теплился огонекъ . . . дверь растворилась, и тусклую трапезу. Иконо-

стасъ подымался до самаго потолка, подпертый витыми столбиками, когда-то позолоченными; старинные лики Святыхъ, едва озаренные лампадою передъ царскими дверьми, казалось, хмурились, помавали головами; хоругви колебались отъ сквознаго вѣтра, который, дуя въ рамы, возникалъ и стихалъ печальною пѣснію. Почтенный старичекъ священникъ встрѣтилъ жениха и невѣсту у дверей благословеніемъ, и дьячекъ, засвѣтя еще нѣсколько свѣчъ въ высокихъ подсвѣчникахъ на деревянной ножкѣ, запѣлъ хриплымъ голосомъ. Началась служба. Прелестна, однако жъ блѣдна, какъ снѣгъ намогильный, стояла передъ налоемъ невѣста . . . вѣнчальная свѣча дрожала въ рукѣ ея — и когда Баяновъ ободрялъ ее нѣжнымъ взглядомъ— она отвѣчала: — Это отъ холода—этотъ холодъ былъ у ней въ сердцѣ . . . Она робко озиралась кругомъ и сторонилась тѣней, перебѣгающихъ по церкви отъ зыбкаго пламени свѣчъ, какъ будто онѣ хватали ее. Вопреки всѣхъ страховъ, обрядъ кончился счастливо. Кольца скрѣпили священною цѣпью сердца, давно уже сплавленныя любовью, и поцѣлуй запечатлѣлъ союзъ ихъ. Когда передъ алтаремъ Бога милосердія и правды супруги съ радостными слезами на глазахъ заключили другъ друга въ

объятія — они забыли настоящее и будущее — никакое горестное чувство не развлекало этого восторженнаго мгновенія.

Оно было послѣднимъ въ ихъ счастіи.

Конскій топотъ и грозные клики палетали со всѣхъ сторонъ — священникъ съ колѣнопреклоненіемъ молился о спасеніи,— Баяновъ готовился къ защитѣ — все было напрасно: выбитыя двери церкви упали, и толпа охотниковъ княжихъ вслѣдъ за разъяреннымъ своимъ господиномъ ворвалась въ средину. На бѣду, онъ охотился не вдалекѣ и получилъ извѣстіе о побѣгѣ дочери, стремглавъ ударился въ погоню. Что медлить правдою? Супруговъ силою разлучили, связали, кинули въ телѣги порознь, и понеслись назадъ въ роковой Шуранъ.

Съ этой поры туча злодѣйства одѣла этотъ домъ тайною. Никто не зналъ, что дѣлается съ молодыми. Никто не могъ догадаться, куда дѣвались они. Двое псарей, которые везли Баянова, увѣряли, что онъ вырвался на полдорогѣ, и ушелъ въ лѣсъ, за это они жестоко были наказаны. Священника угрозами и лестью заставили молчать о бракѣ: притомъ же онъ совершенъ былъ не по всѣмъ правиламъ — недоставало свидѣтелей, и священникъ притаился, чтобы не быть въ отвѣ-

тѣ: общая молва была распущена между дворнею, что отецъ захватилъ вѣнчанье въ самомъ началѣ. Какъ бы то ни было, ни одинъ человѣкъ не осмѣливался спросить объ этомъ обстоятельствѣ угрюмаго князя. И Лиза и Баяновъ канули, какъ въ воду... сосѣди шептались между собою — какъ раки подъ крапивою — и какъ раки пятились передъ страшнымъ сосѣдомъ. Его ядовитый взглядъ убивалъ любопытство и участіе.

Съ большимъ удивленіемъ увидѣла дворня ровно черезъ годъ, что къ нимъ на дворъ катитъ весь Уголовный Судъ изъ Казани. Всѣ слуги дрожали осиновымъ листомъ, чтобъ не попасться въ свидѣтели по проказамъ барина; затаскаютъ, заморятъ по тюрьмамъ, ни дай, ни выпеси. Въ одинъ мигъ слухъ о доносѣ разбѣжался по всему селенію. Члены Суда немедленно потребовали видѣть дочь княжую — про которую отецъ отвѣчалъ, что держитъ ее въ заперти по сумасшествію. Онъ повелъ ихъ въ тюрьму Лизы. Дверь замкнулась, и мертвая тишина воцарилась въ цѣломъ домѣ... всѣ, не переводя дыханія и навостривъ уши, ждали, чѣмъ кончится. Иные шопотомъ увѣряли, что князя возьмутъ подъ стражу, и что для этого пріѣхала крытая повозка. Желаніе избавиться отъ злаго барина и страхъ у него

остаться — волновали всѣхъ. Наконецъ двери распахнулись настежь — и тогда нѣкоторые изъ слугъ, заглянувъ украдкою въ тюрьму барышни, увидали ее брошенную на соломѣ, въ рубищѣ: на ней не было вида человѣческаго — такъ она похудѣла и почернѣла. Глаза впали, волосы были всклочены — она лежала, разметавъ руки, въ обморокѣ.

—Теперь мы удостовѣрены, что она бѣшенаго сумасшествія, сказалъ Предсѣдатель Палаты.

— Никакого нѣтъ сомнѣнія, прибавилъ городской лекарь: она безумна — неизлечимо.

— Держите ее крѣпче, подхватилъ весь Судъ хоромъ: вы ей природныя опекуны: на днях припишемъ формальную бумагу на вводъ во владѣніе!

Роскошный завтракъ скрѣпилъ опредѣленіе этихъ неумытыхъ судей, и юстиція отправилась въ городъ на веселѣ. Вся дворня съ ужасомъ услышала приказъ: такъ вотъ зачѣмъ пріѣзжалъ судъ, такъ вотъ чѣмъ кончилась эта уговорная гроза!! Когда за судьями тронулся обозъ съ подарками, слуги, пожимая плечами, тихонько говорили: скоро по этой дорогѣ повезутъ на погостъ и добрую княжну нашу!

Предсказаніе сбылось скоро — черезъ полгода Лиза скончалась.

Люди пожимали плечами — окружные дворяне много толковали объ этомъ случаѣ. Всѣ соглашались, что князь нарочно ославилъ дочь свою безумною, чтобъ завладѣть ея имѣніемъ; что безчеловѣчнымъ обхожденіемъ съ нею онъ въ самомъ дѣлѣ довелъ ее до изступленія и наконецъ безвременно свелъ въ могилу. Судьба Баянова не ускользнула отъ проницательныхъ взоровъ. Ходили слухи, что онъ былъ привезенъ въ Шуранъ и брошенъ въ одинъ изъ подваловъ, гдѣ и былъ уморенъ съ голоду мстительнымъ княземъ. Приводили въ доказательство разсказы нѣкоторыхъ слугъ... они клялись, что слышали стоны въ подпольѣ — и узнавали въ нихъ голосъ учителя; что потомъ онъ началъ стихать, стихать, и наконецъ замеръ въ такомъ страшномъ воплѣ — что отъ одного разсказа вставали дыбомъ волосы. Говорили еще, будто видѣли въ слѣдующую ночь, что мелькалъ огонь въ отдушинѣ подвала, гдѣ сидѣлъ Баяновъ, слышали, какъ тамъ брякали лопатки, какъ что-то заколачивали, закладывали камнемъ. Со всѣмъ тѣмъ ужасъ, наведенный княземъ на сосѣдей, былъ такъ глубоко укоренетъ, сила его въ судѣ и свя-

ви въ столицѣ такъ обширны, что ни одинъ человѣкъ не посмѣлъ вникнуть въ обвиненіе.

Дѣло запало само собою.

Вскорѣ послѣ смерти дочери, въ князѣ замѣтили чудесную перемѣну. Его злое, дерзкое лицо покрылось блѣдностью; походка стала робка и нерѣшительна, глаза подернулись дымною оболочкою. Иногда, середи бѣлаго дня, онъ останавливался на быстромъ ходу и, весь трепеща, отступалъ; иногда вскакивалъ съ кресель, произнося невнятныя слова. Этого мало: по сказкамъ всей дворни, стали твориться чудеса въ домѣ. Что ни полночь, двери изъ бывшей тюрьмы княжны распахивались съ визгомъ сами, и оттуда явственно раздавались мѣрные шаги, только никого видно не было. Въ ту же минуту подымался тяжелый стонъ изъ подвала такъ протяжно, — такъ страшно и пронзительно, что онъ слышался во всѣхъ углахъ замка. Напрасно зарывали всѣ головы въ подушки и завертывались въ одѣяла: онъ все слышался въ ушахъ и звучалъ, какъ въ пустомъ склепѣ могильномъ. Въ спальнѣ у князя каждую ночь слышали чью-то походку, адскій смѣхъ и потомъ скрежетъ зубовъ, проклятія и будто хрипѣніе смерти. Никто не смѣлъ однако жъ намекнуть о томъ, не только спросить князя — онъ хранилъ мертвое

молчаніе. И вдругъ въ одну ночь, онъ съ воплемъ выбѣжалъ изъ спальни своей, блѣдный, испуганный; въ одной сорочкѣ — онъ самъ походилъ тогда на мертвеца.

— Запрягайте коней! подавайте возокъ! кричалъ онъ: чтобы сейчасъ, сей же мигъ старъ и малъ бѣжалъ изъ этого проклятаго дома, вонъ отсюда и навсегда... Слышите ли, говорю я вамъ, выбирайтесь вонъ мигомъ!

Какъ ни удивлены были слуги и всѣ домашніе такимъ нежданымъ приказомъ, только шутить съ княземъ было плохое дѣло: черезъ часъ не осталось въ цѣломъ домѣ ни человѣка, ни кошки. Все это кипулось, потащилось и поползло въ зимнюю ночь, кто на чемъ попало, въ другую усадьбу верстъ за 30. Съ тѣхъ поръ домъ этотъ стоитъ заколоченъ. Суевѣріе сторожитъ его лучше всякихъ караульныхъ и собакъ. На закатѣ солнца, не то, чтобы въ глухую ночь, ни одинъ крестьянинъ не смѣетъ мимо его вблизи проѣхать. — Чрезъ полтора года князя нашли, мертвымъ въ постелѣ. Простолюдины толковали, что его заѣли нечистые, которымъ продалъ онъ душу — увѣряли, что видѣли на шеѣ слѣды зубовъ. Люди умные говорили, что правосудіе Божіе кликнуло его на расправу. Его похороны были праздникомъ не для однѣхъ плакальщицъ.

Усадьба Шуранъ, вмѣстѣ съ деревнею, досталась на долю моей матери. Не смотря на всѣ выгоды и устройство хозяйственное, она не хотѣла туда переселиться. Только раза два въ лѣто пріѣжала она съ нами къ управителю, жившему въ одномъ изъ отдаленныхъ флигелей, для надзора и повѣрки счетовъ на мѣстѣ. Само собою разумѣется, что дворня наша, и мамки, и нянюшки мои не упустили случая насказать мнѣ съ три короба страховъ и преданій объ этомъ таинственномъ домѣ. Съ какимъ, бывало, трепетомъ, съ какимъ удовольствіемъ осмѣливались мы съ братомъ приближаться по заросшему крапивою двору, вечеркомъ, къ заколдованнымъ палатамъ! Главныя двери были забиты досками; окна зацвѣли мертвою синевою; въ разбитыя стекла порхали птицы, и кровля во многихъ мѣстахъ упала собственною тяжестію. Осторожно переступая, будто боясь попасть въ силокъ или въ очарованный кругъ, подходили мы къ крыльцу: на немъ, по спаямъ камней, росла уже трава. Братъ мой былъ и постарѣе и посмѣлѣе меня, и порой достигалъ до самой двери; но когда обращался назадъ, то кидался внизъ по ступенямъ опрометью. Онъ признавался, что замокъ страшно глядѣлъ на него однимъ гла-

то дышалъ на него морозомъ, и петли скрежетали, какъ зубы. Иногда бросали мы иногда камень на кровлю, и съ біеніемъ сердца слушали, какъ онъ, стуча и прыгая, катился по ней къ низу — и когда, упавъ на землю, скакалъ еще далѣе, мы бросались отъ него, воображая, что онъ за нами гонится. И въ самомъ дѣлѣ, эта могильная тишь на дворѣ, опустѣлый домъ, опальные ряды службъ, обрушенные заборы, все внушало грусть даже дѣтскому сердцу, и вѣтеръ, стопущій въ разбитыхъ окнахъ, шумящій между репейникомъ, слышался намъ говоромъ духовъ, вѣстью съ того свѣта — онъ будто наносилъ на насъ сырость и прохладу гробовъ.

Какъ-то однажды мы были смѣлѣе обыкновеннаго, и разбивъ камнемъ стекло въ окнѣ нижняго этажа, рѣшились посмотрѣть внутрь комнатъ. Братъ поднялъ меня на плечи, чтобъ я могъ достать до рамы. Не безъ ужаса просунулъ я свою голову въ разбитое стекло; я боялся бы не болѣе положить ее въ пасть медвѣдя. Опершись о пыльный косякъ, взглянулъ я внутрь, и сначала все мнѣ показалось темно, какъ ночью. Черезъ нѣсколько времени я приглядѣлся . . . а между тѣмъ братъ ежеминутно распрашивалъ меня, что я вижу. То была обѣденная зала. Длинные столы сто-

или по стѣнамъ съ полуоборванными полами; многіе стулья лежали на полу, словно опрокинувшись отъ страха; другіе, будто отъ слабости, стояли, прислонясь къ стѣнѣ. На полу лежали обломки посуды, видно, разбитой въ попыхахъ перевоза. Полинявшіе, пыльные обои, въ иныхъ мѣстахъ уже опавшіе, колебались отъ вѣтра; изъ-подъ нихъ выглядывала дождевою плѣсенью покрытая стѣна; индѣ штукатурка обвалилась и сквозили лучинныя решетки — вы бы сказали: это тлѣющій трупъ богача, съ котораго падаетъ одежда и кожа, и мѣстами уже обнажаются ребра, на которыхъ паутина висѣла, какъ волокна и жилы. Карнизы улѣплены были гнѣздами ласточекъ; летучія мыши цѣплялись по угламъ; живопись потолка сплылась въ какіе-то чудовищные арабески. Трудно себѣ вообразить, какое странное впечатлѣніе произвелъ на меня видъ этой опальной комнаты: я будто сей часъ гляжу на нее! Все, все въ ней казалось мнѣ чуднымъ, сверхъестественнымъ, страшнымъ. Этотъ мракъ, въ ней царствующій, эта полураствореная въ коридоръ дверь, за которою такъ таинственно сгущались тѣни, даже обшитая сукномъ веревка, на которой когда-то висѣла люстра, съ огромнымъ крючкомъ своимъ, казались мнѣ орудіемъ пытки. Мнѣ казалось,

на сѣромъ свѣтѣ сумерекъ, сквоз
стекла, что всѣ звѣри и птицы обо
лятся, трепещутся; что бѣлая израз
ка притаилась въ углу, какъ мертве
ванѣ, и вдругъ въ самомъ дѣлѣ что-
съ блестящими глазами, съ грохото
тилось по залѣ и прямо кинулось н
я заревѣлъ, опрокинулъ брата, смял
катился съ нимъ вмѣстѣ черезъ голо
томъ вскочили мы оба, и оба, крича
мочи, ударились бѣжать врозь, за
ронительный и наступательный союз
давать другъ друга ни въ какомъ сл
довище, испуганное насъ, было ко
однако жъ, породы храбрыя, и у
томъ, не смѣли подойти къ ней и ко
ни слыветъ сосудомъ оборотней, вѣд
му подобной адской челяди втораго

Улетѣли годы.

Давно ужъ покинулъ я родину.
въ Москвѣ, вступилъ въ службу.
спѣшилъ я домой показать матушкѣ
тенты, свои эполеты, при первомъ
Весь мой младенческій и отроче
ожилъ въ душѣ, когда я увидѣлъ
на которомъ онъ двигался. Правда, м
міръ этотъ не только просторный, но
ный для ребенка, для меня опош

ужъ тѣсенъ, малъ непонятно. Но онъ былъ моимъ; былъ связанъ, не скажу съ прекраснымъ, но съ беззаботнымъ возрастомъ, когда мы чувствуемъ — не ощущая сердца, думаемъ — не утомляя души; съ этимъ единственнымъ возрастомъ настоящаго безъ сожалѣнія о вчера, безъ ожиданія завтра, безъ воспоминаній, едва ли не всегда разведенныхъ желчью раскаянія, безъ надеждъ, отравляемыхъ ядомъ страха. Я сказалъ тебѣ о моей наклонности къ чудесному. Признаюсь, что возрастъ не уничтожилъ ея; онъ только высучилъ ее въ утонченную нить, а романы раскрасили ее своими цвѣтами. Перемѣнилося видъ, существо осталось то же. Вотъ почему таинственный Шуранъ манилъ меня къ себѣ своими чудными преданіями — манилъ неодолимо. На третій же день я велѣлъ осѣдлать коня, и поскакалъ туда. Это было въ октябрѣ мѣсяцѣ. Когда я пріѣхалъ въ Шуранъ, ночь, какъ прелестная Арабка, въ звѣздномъ покрывалѣ глядѣлась уже въ померкшемъ зеркалѣ Камы. Я слѣзъ у крыльца уединеннаго домика, въ которомъ жилъ управитель — только не нашелъ его у себя — онъ уѣхалъ въ дальнюю деревню. Мнѣ вовсе не весело было коротать вечеръ съ старухою, его женою, и поужинавъ наѣстись, и велѣть подать себѣ топоръ, нажечь

три восковыя свѣчи, вмѣсто факела, и не сказавъ никому ни слова, отправился прямо къ покинутому дому. Репейникъ заплеталъ мнѣ дорогу; испуганныя лягушки, которыя уже столько лѣтъ невозбранно владѣли мокрымъ дворомъ, квакая, прыгали изъ-подъ ногъ моихъ. Я подошелъ къ обрушенному крыльцу — котораго ступени были термометромъ дѣтскаго нашего честолюбія, — я увидѣлъ окно, въ которое глядѣлъ, когда былъ испуганъ кошкою — и всѣ фантастическія существа замахали около меня знакомыми крыльями, и прежнее чувство сладкаго страха втѣснилось въ грудь, — я опять стоялъ школьникомъ передъ стариннымъ замкомъ. Это было на минуту. Я оторвалъ топоромъ доски дверей, и вошелъ въ обширную переднюю. Отворенные кругомъ стѣнъ ящики для сидѣнья слугъ и опрокинутыя вѣшалки доказывали еще торопливость, съ которою выбирались жильцы изъ дома. Наукъ развѣсилъ свои побѣдныя знамена по стѣнамъ, мѣдныя задвижки дверей зацвѣли зеленью, сами двери едва держались на перержавленныхъ петляхъ — и когда я тронулъ однѣ — онѣ упали съ трескомъ на полъ. Гулъ пошелъ по пустымъ комнатамъ, густое облако пыли взвилось — и я сквозь него вступилъ въ залу. Летучія мыши, эти бабочки раз-

залинъ, треща перепончатыми крыльями, слетѣлись на огонь, и кругами рѣяли мимо глазъ. Разрушеніе много выиграло съ тѣхъ поръ, какъ я въ первый разъ видѣлъ эту залу. Карнизы обвалились и часть ихъ лежала на столахъ, словно объѣдки отъ пиршества зубастаго времени. Обои висѣли длинными лоскутьями. Занавѣсы оконъ подъ густымъ слоемъ пыли источены были молью. Дождевые потоки нанесли еще мрачнѣйшую краску на стѣны — и на нихъ нѣсколько портретовъ проглядывали сквозь коноть, будто сквозь туманъ забвенія. Полонъ воспоминаній младенчества, полонъ думою о несчастной судьбѣ моей родственницы, которая жила, любила, умерла здѣсь — пробѣгалъ я рядъ комнатъ, покинутый людьми, которые одни могутъ бороться со временемъ, и оставили ему побѣду безъ боя. Въ каждомъ трепетаніи обоевъ мнѣ слышался стонъ умирающей жертвы — одинокой посреди холодныхъ стѣнъ и еще холоднѣйшихъ стражей — въ разлукѣ съ милымъ супругомъ. И ни одно дружеское привѣтствіе, никакое родственное утѣшеніе не радовали послѣдней тоски ея!! Напротивъ, она видѣла подлѣ себя коршуновы очи, которыя съ жадною радостію ждали ея кончины — она знала, что мученія ея останутся никому не извѣстны; что, испы-

тавъ по сю сторону гроба злость, по ту сторону предана будетъ клеветѣ; что она, измученная, очерненная, погребенная заживо, сойдетъ въ землю не оплакана, не оправдана ни кѣмъ и ни передъ кѣмъ — ужасно! — Лиза! вскричалъ я: несчастная Лиза! Я защитникъ твоей чести! Мой голосъ пробудилъ эхо пустыхъ комнатъ, и стекла, дребезжа, дали унылый аккордъ! Въ это время послышалось мнѣ, будто кто-то ходитъ въ сосѣдней комнатѣ . . . шаги эти были тихи, легки, можно сказать, воздушны: меня обдало холодомъ, волосы стали дыбомъ . . . прислушиваюсь — ни звука. Мало по малу я ободрился — и поднялъ вверхъ свѣточъ свой, чтобы осмотрѣться — я стоялъ въ длинномъ коридорѣ, въ концѣ котораго видѣлась бѣлая рѣзная дверь, убитая, какъ видно, послѣ, желѣзными полосами. Сверху привинчены были тяжелыя задвижки — но онѣ не были задвинуты. Мнѣ вспало на умъ: не здѣсь ли вытерпѣла дочь строптиваго князя ужасную пытку? Любопытство разгорѣлось. Я приблизился къ этимъ дверямъ, тихо взялся за скобу и дернулъ ее къ себѣ . . . дверь растворилась.

Другъ мой! ты знаешь, робокъ ли я подъ свистомъ картечей; ты знаешь, блѣднѣлъ ли я передъ пикой, устремленной мнѣ въ серд-

це — но ты не знаешь, какъ упало это сердце, когда взглянулъ я въ тюрьму Лизы . . . . Казалось, ледяная гора задавила меня — казалось, самъ я въ одно мгновеніе превращенъ былъ въ кусокъ льда . . . Нѣтъ, это былъ не сонъ, не мечта, не обманъ очей, не игра приготовленнаго воображенія — я тысячу разъ видѣлъ портретъ Лизы, висѣвшій въ спальнѣ у моей матери — онъ былъ врѣзанъ въ моей памяти — и вдругъ на яву, безъ всякихъ сомнѣній на яву передо мною! . . .

Я слушалъ Зарницкаго съ большимъ вниманіемъ; — когда онъ былъ разгорячен или одушевленъ, то разсказывалъ увлекательно. Не слова, не рѣчи — а голосъ этихъ рѣчей, а чувство, волнующее этотъ голосъ, переливали участіе въ грудь каждаго. Въ ту минуту, когда онъ произнесъ: — передо мною . . . послышались тяжелые шаги по лѣстницѣ. Мы оба такъ настроены были къ чему-то сверхъестественному, что вскочили невольно и обратили глаза на дверь съ какимъ-то робкимъ ожиданіемъ. Когда глаза наши встрѣтились — мы оба усмѣхнулись, будто признаваясь: какія мы дѣти! Та улыбка однако жъ была мгновенна. Мочная рука, которая не удостоивала, казалось, отвернуть ручку дверную, сорвала весь замокъ — и къ намъ вошелъ высокаго

роста латникъ, завернутый въ широкую, т
лую шинель. Палашъ его, волочась, бре
чалъ, каска была изрублена и часть гребн
висѣла надъ глазами. Онъ не поклонился нам
не молвилъ слова и прямо сѣлъ къ огню
мы узнали въ немъ кирасирскаго маіора, к
торому одолжены были побѣдою. Но зако
военной учтивости и долгу службы, я, как
старшему, отрапортовалъ ему о состояніи о
ряда, и наконецъ отъ чистаго сердца прот
пулъ ему руку съ дружескимъ благодареніем
съ солдатскимъ привѣтствіемъ, говоря, ч
намъ лестно будетъ имѣть товарищемъ чел
вѣка, которому обязаны блистательнымъ усп
хомъ. Но латникъ всталъ и приложилъ ру
къ козырьку машинально — и снова сѣл
будто ничего не видя и не слыша. Блѣдн
было его лицо; глаза мутны, неподвижны. П
трепетанію черныхъ, длинныхъ его усов
видно было порой судорожное движеніе губъ.
брови сдвинуты угрюмо. Пробития картечь
и пулями его шинель залита была кровью —
каждый разъ, когда онъ наклонялся, поправ
ляя огонь, палашъ его падалъ на полъ, зв
ча, и цѣпки, связывающія кирасъ, брякали
желѣзной нагрудникъ. Мы говорили межд
собой шопотомъ, изумленные страннымъ по

піемъ латника. Кто онъ? что онъ? зачѣмъ онъ здѣсь? Мы напрасно заводили съ нимъ рѣчь, напрасно подчивали чаемъ: онъ склоненіемъ головы или движеніемъ руки прерывалъ всѣ вопросы и предложенія. Мы оставили его самому себѣ.

Опершись объ руку, упертую въ колѣно, онъ, казалось, глубже и глубже топулъ въ морѣ минувшаго — онъ вздыхалъ тяжко, такъ тяжко, что у насъ вчужѣ вздувалось сердце. Иногда слезы катились по его лицу. Онъ съ какою-то завистью смотрѣлъ на пылкіе уголья, которые меркли, угасали, распадались въ пепель — будто онъ въ нихъ видѣлъ свое подобіе. Потомъ вдругъ, сложивъ руки на стальной груди своей, онъ опрокидывался назадъ и шепталъ невнятныя слова . . . грозно скрежеталъ губами, глаза его наливались кровью, ноздри вздувались, какъ у льва — онъ былъ страшенъ.

Мы вздремали; казалось, вздремалъ и онъ; только по временамъ вздрагивалъ и стопалъ. Вдругъ пробуждены мы были стукомъ его палаша — онъ съ ужасомъ смотрѣлъ на руку свою — на нее упало нѣсколько капель растаявшей на шишели крови . . . глаза его стояли — густыя кудри бросали тѣнь на бѣлое,

какъ саванъ, лице — губы были открыты
весь онъ былъ идеалъ ужасно-прекраснаго!

— Зачѣмъ ты пробудила меня, кровь зл
дѣйская! роптать онъ . . . неужели ли ми
одинъ сонъ — могила; неужели ни прежд
ни послѣ мести нѣтъ покоя!!

— Онъ вскочилъ, схватилъ горящее полѣ
вмѣсто факела, и подъ вліяніемъ сомнамб
лизма, сдѣлалъ нѣсколько шаговъ вкругъ ко
наты.

— Здѣсь, такъ, вдѣсь — видѣлъ я ее висѣ
вые! произнесъ онъ тронутымъ голосомъ
съ горькою улыбкою, но въ этой улыбк
отражались всѣ муки души. Она сидѣла
у этого окна; мрачны стали эти стѣны; он
подернулись какъ гробовымъ сукномъ . . .
было время, онѣ склонялись надо мной, как
брачный пологъ, какъ цвѣтная занавѣса буду
щаго. Здѣсь далъ я, здѣсь услышалъ я пер
вую клятву въ вѣрности . . . клятву? — он
пишутся на водѣ, и утекаютъ съ нею!! Н
мою клятву я бы готовъ былъ запечатать сво
ею кровью — и только кровь могла смыт
ее . . . Она смыта! прибавилъ онъ злобно—
и потомъ тихо, озираясь, пошелъ далѣе — в
другую, въ третью комнату. Наконецъ мы вы
шли въ залу, въ которой была самая горяча

пулями, окна разломаны, нѣсколько десятковъ обезображенныхъ труповъ валялись другъ на другѣ по полу, залитому кровью — картина была отвратительна, не только ужасна. Латникъ нашъ, достойный гость между мертвецами, съ пылающимъ деревомъ въ рукѣ, въ каскѣ и въ латахъ своихъ, походилъ на привидѣніе какого нибудь рыцаря нѣкогда минувшихъ — исполинская тѣнь его мелькала по стѣнамъ и крылась слѣдомъ.

Мы стояли въ тѣни, неподалеку.

Стѣны были увѣшаны портретами фамильными — это общій обычай въ Польшѣ. Латникъ прямо кинулся къ одному изъ нихъ, и разсматривалъ его съ дикимъ наслажденіемъ. Это было въ самомъ дѣлѣ прелестное лицо какой-то дѣвушки. Озаренная невѣрнымъ свѣтомъ, она мелькала сквозь мракъ, будто неслась ангеломъ міра.

— И ты, сердце моего сердца! ты, которая одушевляла для меня жизнь и свѣтъ — и тебя не стало! произнесъ Латникъ, глубоко тронутый. — Земля взяла свое — черви насладились твоими прелестями . . . Черви? нѣтъ, змѣя отравила тебя заживо, Фелиція. Свидѣтель Богъ, ты одна могла удержать руку, готовую раздавить эту гадину — я острочилъ *месть — но* отказаться отъ нея не могъ я,

какъ отъ любви своей — месть мнѣ осталась единственною любовью послѣ тебя, единственною отрадою; только жажда ея могла приковать меня къ колесу пытки!! Не смотри такъ грозно на меня, Фелиція, — я далъ себѣ страшную клятву уничтожить изверга, — а ты вѣдаешь, измѣнялъ ли я клятвамъ въ добромъ и зломъ . . . она свершилась!! И ты сдержала обѣтъ свой, милая тѣнь — ты обѣщала мнѣ явиться въ ночь передсмертную — вѣстница радости . . . ты явилась мнѣ — не убѣгай, не улетай отъ меня — скажи мнѣ, буду ли я твоимъ супругомъ въ царствѣ смерти? Любятъ ли тамъ? я не хочу рая, когда въ немъ не найду тебя!!

Онъ кинулся на встрѣчу милому призраку въ порывѣ горячки своей — и запнулся за убитаго Француза . . . внезапный ужасъ поразилъ его. Онъ наклонился, поднесъ головню къ посинѣлому лицу мертвеца — и черты его вспыхнули гнѣвомъ . . .

— Ты и здѣсь заграждаешь мнѣ дорогу на небо... прочь, змѣя! прочь, говорю я! вскричалъ онъ: какъ ожилъ ты изъ-подъ моихъ ударовъ? Зачѣмъ пришелъ ты умереть сюда! Неужели и адъ не принимаетъ злодѣя? . . . Въ этотъ разъ по крайней мѣрѣ ты не хйтешь

отъ меня . . . въ этотъ разъ ты не избѣгнешь заслуженнаго ада, который вызвалъ на свѣтъ!!

Пѣна била у него клубомъ, лице горѣло кровью — онъ выхватилъ палашъ свой — наступилъ мертвецу на грудь, такъ, что у него затрещали кости, и подавъ обѣими руками клинокъ, вонзилъ его въ давно оледенѣлое сердце, и дважды поворотилъ въ ранѣ . . .

— Онъ еще живетъ, еще дышитъ! повторялъ онъ, прислушиваясь — еще остальная кровь, какъ червь, ползетъ въ жилахъ его! . . .

Онъ снова взмахнулъ палашемъ — но изступленіе истощило всѣ его силы — онъ рухнулъ на полъ безчувственъ, бездыханенъ.

Кликнувъ гусаровъ, мы перенесли его въ прежнюю комнату, сняли съ него латы и положили на плащахъ. Приводя его разными средствами въ чувство, мы успѣли возвратить ему дыханіе, но не память. Только по временамъ пробѣгалъ по всѣмъ членамъ его трепетъ, только холодный потъ проступалъ на тѣлѣ, и закрытыя вѣки дрожали судорожно. Онъ тихо стеналъ, произнося невнятныя слова — мы оставили его успокоиться. Встрѣча съ Латникомъ совершенно отбила у насъ сонъ. Мы потихоньку разсуждали, до какой степени несчастная любовь дѣлаетъ пеностовымъ человѣка, одареннаго или, лучше сказать, нака-

занпаго пылкими страстями. Очевидно бы
что онъ женихъ Фелиціи и врагъ грабе Ост
ленскаго, что онъ преслѣдовалъ и изрубн
его.

— Однако ты, братъ, не докончилъ свое
разсказа, напомнилъ я поручику.

— Онъ будетъ кратокъ, отвѣчалъ поруч
со вздохомъ. Мы были прерваны на томъ
стѣ, когда я отворилъ двери старинной тем
цы Лизы. Гляжу — въ комнатѣ этой гор
свѣча — подъ окномъ, забитымъ рѣшетко
столъ; въ углу простая кровать и на ней
вообрази мое удивленіе! — женщина въ
ломъ платьѣ — и кто же? Лиза! Я говори
тебѣ, что кровь замерзла въ моихъ жилахъ
но это не выражаетъ ужаса, которой я то
ощутилъ. Казалось, тысяча ледяныхъ иголо
пронзили меня съ головы до ногъ, холоди
нотъ застылъ на сердцѣ, и если я тогда
упалъ — то обязанъ этимъ одному оцѣне
нію . . . это былъ задатокъ разрушенія
часъ смертный.

Но все, что имѣетъ начало, должно имѣ
конецъ. Разсудокъ проговорилъ, сердце
таяло, и я съ недоумѣніемъ и страхомъ п
тиралъ глаза, чтобъ увѣриться, не грѣза
это; нѣтъ! бѣлое привидѣніе недвижимо ле
ло передо мной, будто въ глубокой тоскѣ,

непробудимой задумчивости. Прелестное, но блѣдное лицо было полуоткрыто свѣтлорусыми локонами. Я долго смотрѣлъ на это явленіе, колеблемъ между истиной и заблужденіемъ — ступилъ шагъ — незнакомка подняла глаза, и тутъ ужъ я убѣдился, что столько жизни не могло сосредоточиться въ мертвецѣ... я прервалъ безмолвіе — я сказалъ ей, кто и почему-я здѣсь ... Теперь угадай, кто была она и какъ туда попала?

— Не могу придумать, отвѣчалъ я.

— И я не вдругъ узналъ это. Милая дѣвушка умоляла меня никому не открывать о встрѣчѣ съ нею. Напрасная просьба! я самъ бы готовъ былъ схоронить отъ цѣлаго свѣта такое сокровище. Нужно ли сказывать, что черезъ полчаса, проведеннаго съ нею, я ужъ былъ влюбленъ по уши? Чудесность, таинственность всего ея быта бросили искру въ сердце — а ея невинность, ея свѣтлый умъ раздули пожаръ. Я выпросилъ у ней позволеніе увидѣть ее еще разъ и еще разъ — но въ замѣну далъ слово дѣлать это съ большими предосторожностями. Черезъ три дня я уже опять спрыгнулъ у крыльца управителя Шурана.

— Дома ли?

— Дома-съ, очень радъ.

Управитель встрѣтилъ меня двусмысленною улыбкою.

— Не прикажете ли подать топоръ и свѣчъ, Григорій Ивановичъ? сказалъ онъ мнѣ.

— Зачѣмъ это? возразилъ я, смутившись.

— Для ночнаго путешествія въ опальный домъ, отвѣчалъ онъ. Григорій Ивановичъ, я все знаю. Васъ ждутъ съ нетерпѣніемъ — только позвольте чтобъ въ этотъ разъ я былъ проводникомъ вашимъ. Онъ пошелъ впередъ, не ожидая отвѣта — а я такъ смущенъ былъ нежданымъ этимъ привѣтствіемъ, что шелъ сзади его, какъ на споръ.

Когда приближались мы къ роковой двери, сердце у меня вспрыгалось, будто заяцъ подъ ружьемъ стрѣлка... Незнакомка встрѣтила насъ еще пролестнѣе, чѣмъ прежде... я таялъ, на нее глядя — самолюбіе мое лакомилось пылкимъ румянцемъ красавицы.

— Григорій Ивановичъ! сказалъ управитель: прошу любить и жаловать тетку вашу... вы видите дочь Елисаветы Андреевны, Елисавету Павлову Волкову! Я отступилъ отъ изумленія три шага назадъ... Мысли и чувства такъ были прерваны этимъ нежданымъ, непонятнымъ объясненіемъ, что я стоялъ долго, растворивъ ротъ, какъ будто бы я глоталъ

чужія слова вмѣсто того, чтобъ произносить ихъ самому.

Управитель продолжалъ: Бракъ г-на Баянова съ родственницей вашей княжной Х—ой, совершенъ былъ неразрывно. Его утаили, но уничтожить не могли. Дѣвица, которую извольте видѣть передъ собою, родилась во время заключенія Елисаветы Андреевны и названа была ея именемъ. Покойникъ князь имѣлъ свои причины скрыть новорожденную, и поручилъ мнѣ отдать ее на воспитаніе въ какую нибудь дальнюю деревню. Мнѣ стало жаль малютки — я свезъ ее къ брату своему, бѣдному помѣщику въ Вятской губерніи: онъ былъ бездѣтенъ, и принялъ покинутую, какъ небесный гостинецъ. Выкормилъ, воспиталъ ее, какъ видите. Никто не зналъ о томъ на кровинки все дѣло шло самымъ тайнымъ образомъ. Кого вязали свои дѣла, кого княжія деньги или угрозы. Умеръ и князь — да остались его наслѣдники — заводить съ ними тяжбу пугало и меня, не смотря на упреки совѣсти: и я самъ былъ въ этомъ дѣлѣ виноватый, хоть невольно. Мѣсяцъ передъ симъ потерялъ я брата, а Елисавета Павловна своего воспитателя . . . недѣлю назадъ пріѣхала она сюда. Я крѣпко плакалъ по добромъ братѣ своемъ — и не утѣшился бы, если бъ

не было со мной этого ангела. Между
(между нами будь сказано) любезная Е
вета Павловна начиталась всякой всячи
то и дѣло просится посмотрѣть того
гдѣ жила и скончалась ея матушка. Ка
казать!!! На бѣду эта комната ей до тог
любилась, что не вызовешь. Днемъ х
сюда — пошли бы разные толки, а нам
до было молчать о ея родѣ до поры, до
мени: Вотъ она и стала плакать здѣс
матери ночью. Не осердитесь, любезн
Григорій Ивановичъ, что, заступаясь за
вду и за правую душу, я выхлопотал
законныя свидѣтельства для иска насл
Елисаветы Павловны: можетъ прійдетъ и
поплатиться — да ей главное — дорога
рипская слава, и свое доброе имя, кото
иначе нельзя выправить, какъ передъ з
ломъ. Что передъ вами таиться? — Ел
та Павловна нашла себѣ по сердцу суже
и это всего больше заставило меня п
шить развязкою. Ваше неожиданное по
ніе крѣпко встревожило мою гостью.
своей стороны счелъ за лучшее сказать
все откровенно. Я знаю вашу благоро
душу!

— И не ошиблись въ ней! — вскрича
обнимая почтеннаго, простодушнаго ста

И не ошиблись!... По праву родства, я обнялъ и милую свою родственницу — но чего бы я не далъ, чтобы обнять ее, не слышавъ вѣстей, что она родня моя, что она невѣста другаго!!

Мои мечты, мои надежды разсыпались — но любовь осталась въ сердцѣ. Я избѣгалъ всѣхъ случаевъ видѣть ее — но ея образъ былъ всегда передъ глазами... Тому уже прошло пять лѣтъ, другъ мой — но я не могу вспомнить о моей Лизѣ безъ вздоха — она была для меня настоящимъ призракомъ счастія!!

Я сдѣлалъ все, что могъ для ея счастія — уговорилъ матушку уступить ей свою часть имѣнія, отъ князя Х — го доставшагося; — хлопоталъ по судамъ, чтобы признали ее истинною дочерью Баянова — и успѣлъ въ этомъ. Денежный искъ другое дѣло: онъ до сихъ поръ тянется съ сыновьями Х—ми. Впрочемъ Лиза вышла за мужъ за того, кого любила, который любилъ ее, который ее любитъ... она пишетъ, что живетъ безбѣдно и счастливо!... — а я?...

Поручикъ закрылъ лицо, но не слезы свои руками... грудь его стояла надувшись, но онъ не вздыхалъ, ... онъ не могъ вздохнуть! ...

Сердце мое сжалось... горячія капли
бились сквозь рѣсницы. Мы оба, молча, с
яли свои головы въ плащи.

Такъ заснулъ я.

Съ вечера я отдалъ приказъ быть готов
къ выступленію къ четыремъ часамъ утра.
коть трубы пробудилъ насъ.

Трудно, не смотря ни на какую привы
съ просонковъ слышать безъ содроганія зв
трубные: они имѣютъ въ себѣ что-то ужас
щее, что-то зловѣщее, что-то пронзающее с
це. Кажется, призывъ ихъ выговариваетъ
ва: на брань, на брань; на судъ, на су
Первымъ нашимъ движеніемъ было кину
къ больному кирасиру — онъ спалъ еще кр
кимъ сномъ; лице его было посвѣжѣе, х
все еще блѣдно. Наконецъ перекаты тр
проникли и до его души — онъ встрепе
ся, поднялся на руку и съ какимъ-то нед
вѣніемъ озирался кругомъ, припоминая,
было, гдѣ и какъ онъ теперь? Неужто
еще живъ? было первымъ его вопросомъ.

— Успокойтесь, маіоръ, сказалъ я: если
спрашиваете про кого нибудь изъ непрі
лей — то они всѣ легли на мѣстѣ.

Онъ долго смотрѣлъ на меня, будто вз
шивая слова мои, будто вглядываясь не то

онъ дружески протянулъ ко мнѣ руку и крѣпко сжалъ ее.

— Я помню васъ, я знаю васъ, сказалъ онъ: коротко было мое знакомство въ вами; дружество будетъ еще короче; за то одно и другое полно. Теперь я будто сквозь сонъ вспоминаю, что со мной случилось вчера. Господа! я чувствую, что странность моихъ поступковъ должна была изумить васъ ... я бы желалъ въ свою очередь, въ извиненіе себѣ молвить словцо, другое, о томъ, что привело меня къ этому безумію, да боюсь, чтобъ не задержать похода.

— Я отвѣчалъ, что мои разъѣзды не возвратились еще изъ окрестностей, и потому съ часъ мѣста будетъ досугу поговорить и послушать за стаканомъ чаю.

Если такъ, господа, возразилъ маіоръ: я въ коротцѣ разскажу вамъ свою печальную повѣсть. Не многіе часы даны мнѣ на бѣломъ свѣтѣ — я считаю по этому долгомъ открыть добрымъ товарищамъ сердце; можетъ быть, вы повстрѣчаете родныхъ моихъ и передадите имъ мою послѣднюю исповѣдь. Какъ ни тяжко вызывать мнѣ прошлое изъ могилы сердца, но я вызову его, какъ тѣнь Саула, чтобы услышать отъ неи неизбѣжное проро-

— Послушайте.

Здѣсь, въ этомъ самомъ замкѣ, стоялъ я съ артиллерійскою ротою, которою командовалъ. Я любилъ дочь хозяина, я былъ женихомъ ея. Передъ самой свадьбой, больная мать моя захотѣла непремѣнно видѣть меня для благословенія. Я поскакалъ, и засталъ добрую матушку на смертной постелѣ, не отходилъ отъ нея въ теченіе трехъ недѣль, на столикѣ, уставленномъ лекарствами, писалъ я невѣстѣ много и часто, лаская ее, обманывая себя надеждою скораго выздоровленія любимой, уважаемой матери, скораго свиданія съ нею. Богъ судилъ иначе: матушка моя скончалась.

Безсонница, огорченіе, тоска сломили меня: я схватилъ жестокую нервическую горячку. Въ бреду, въ безпамятствѣ, наконецъ въ летаргическомъ разслабленіи пробылъ я почти два мѣсяца. Въ безпамятствѣ, сказалъ я? — Нѣтъ, то было лишь отсутствіе разума, отсутствіе внѣшнихъ чувствъ; но память о разлукѣ, о потерѣ, свинцовой горой лежала на сердцѣ. Нѣмая, но тяжкая, неопредѣленная боль тяготѣла надо мной, подавляла вмѣстѣ душу и тѣло, тлѣла, но не вспыхивала и не угасала. Я не ощущалъ хода часовъ, но чувствовалъ долготу времени: оно тянулось, длилось безконечно. Нить этого отчаяннаго

положенія прервалась вдругъ, я очнулся. Все радостное и все горестное слетѣлось въ душу съ первымъ лучемъ свѣта, проникшимъ въ нее — онѣ кинулись на нее будто хищныя птицы, давно голодныя!! Первымъ моимъ желаніемъ было узнать, есть ли письма отъ Фелиціи.—Всѣ молчали: то было молчаніе смерти для всѣхъ [illegible]ь. Новый продолжительный об[illegible] меня своимъ холодомъ, онъ [illegible]ко что распускающуюся почку [illegible]ть моя была чрезвычайна, без[illegible]о, выздоровленіе медленно. Все[illegible] протекли съ тѣхъ поръ, какъ я [illegible] Фелиціею, и вотъ я сталъ на ноги. Боже мой, Боже мой! для чего ты отдалъ мнѣ жизнь, не отдавъ счастья! — Тогда узналъ я то, чего не смѣлъ подозрѣвать, чему бы никогда не повѣрилъ! — Фелиція вышла замужъ за одного изъ дальнихъ своихъ родственниковъ! Съ перваго раза я считалъ ее мертвою, ибо жить и не писать ко мнѣ — были двѣ мысли, которыхъ не могъ я связать вмѣстѣ ... И уже свыкся съ этою мыслію, какъ люди привыкаютъ къ яду... она была горестна, но не обидна для меня... Можете судить, какого было мое бѣшенство, когда я узналъ невѣрность Фелиціи! Выбро-

венныхъ страстей, я не зналъ никакой узды, никакихъ границъ. Казалось, адская сила стремила меня, какъ ядро, на разрушеніе чужое и собственное. Огонь текъ въ моихъ жилахъ; сѣра кипѣла въ груди. Я былъ глухъ на совѣты и увѣщанія совѣсти: я рѣшился убить Фелицію! — Что вы такъ страшно глядите на меня, господа? Постигаете ли вы чувство нетерпимости раздѣла въ любви? Можете ли вы вообразить, можете ли понять, оправдать, по крайней мѣрѣ извинить человѣка, который скорѣе убьетъ своего соперника, чѣмъ уступитъ ему любовницу, скорѣе пронзитъ самъ ея сердце, чѣмъ позволитъ ему биться на груди другаго? — Если вы не имѣли о томъ мысли, если не слыхали тому примѣровъ — то передъ вами стоитъ тотъ, кто готовъ былъ произвесть это въ дѣйство, кто лелѣялъ месть за любовь, какъ прежде самую любовь — месть, это страшное наслѣдство страстей необузданныхъ. — Воля, которую не умѣли переломить во мнѣ съ младенчества, разбила мое сердце, да я не ищу извиненій. Богъ, передъ которагo скоро предстану, разсудитъ, правъ ли я, виноватъ ли я... чему было должно свершиться, свершилось.

Каждый мигъ замедленія былъ мнѣ нестерпимъ: я спалъ и видѣлъ кровь. Я жаждалъ

увидѣть измѣнницу еще однажды и въ послѣдній разъ: этотъ разъ долженъ быть послѣднимъ часомъ въ ея жизни. Я проснулся, и былъ переведенъ въ кирасирскій полкъ, стоявшій невдалекѣ отсюда. Я сдѣлалъ это потому, что рота моя во время моей болѣзни перешла въ Россію. Полный кровавыхъ замысловъ, я полетѣлъ на роковое свиданіе.

Приближаясь къ замку, я съ звѣрскою радостію воображалъ себѣ ея изумленіе, ея смущеніе передо мною — я предугадывалъ ея извиненія, ея стыдъ при моихъ укорахъ — я наслаждался заранѣе ея ужасомъ при блескѣ кинжала — рѣшимость моя была непреклонна.

Однако, чѣмъ ближе сюда, тѣмъ мягче и мягче становился гнѣвъ мой. Душевная буря опала, кроткія воспоминанія прошлаго счастія овладѣли мною противъ воли. Глухая осень оборвала уже листья съ деревъ сада, за то каждое изъ нихъ одѣто было для меня сладкою памятью. Я безъ мысли, безъ цѣли перепрыгнулъ на конѣ черезъ рогатку садовую, и на удачу тихимъ шагомъ объѣзжалъ всѣ дорожки, знакомыя глазу и милыя сердцу: все было мрачно и печально и пусто, какъ въ груди моей; павшій листъ хрустѣлъ подъ ногами, и вѣтеръ звучалъ, какъ въ струны, въ замерзлыя сучья; грустна была пѣсня его, но

она лилась, какъ масло на сердце. Осенняя заря разливала свои розовыя сумерки будто на прощанье; она хотѣла разъяснить улыбкою цѣлый день угрюмое небо. И вдругъ совсѣмъ неожиданно наѣхалъ я на сидящую подъ деревомъ Фелицію. — Не умѣю, не смѣю выразить, что тогда сталось, когда я взглянулъ на нее!! Я ожидалъ ее найти въ полномъ расцвѣтѣ прелестей, съ гордымъ самодовольствіемъ въ глазахъ, близъ ласкающагося къ ней мужа, или въ толпѣ поклонниковъ... и гдѣ жъ, и какъ нашелъ я ее? Сердце мое облилось кровью: она была худа и одинока! Все, что могутъ страданія душевныя и болѣзни тѣлесныя, написано было на ея блѣдномъ лицѣ. Одна прелесть еще сіяла на немъ, прелесть невинности. Слезы покатились изъ глазъ ея — онѣ растопили мое сердце. Всѣ подозрѣнія, всѣ сомнѣнія, вся увѣренность моя разсыпались при первомъ ея взглядѣ — я упалъ, рыдая, къ ногамъ ея...

Это свиданіе не было послѣднимъ. Я вымолилъ у Фелиціи позволеніе видать ее въ замкѣ по пятницамъ, дни, въ которые Графъ уѣзжалъ обыкновенно въ гости. Живучи въ близи, я узналъ всѣ адскія хитрости, которыми намостилъ онъ себѣ дорогу къ супружеству. Перехватываніе писемъ, ложныя вѣсти,

коварство подъ личиною участія, все было тамъ на мою бѣду. Этого мало. Ему нужна была Фелиція для золота; она стала лишняя, когда онъ получилъ его. Злодѣйская холодность, ядовитые упреки, презрѣніе ко всему, что достойно уваженія въ женщинѣ, въ супругѣ; всѣ огорченія, какія только злоба можетъ выдумать и безчувственная подлость исполнить, отравили ея жизнь, уничтожили здоровье. Она чахла, она разрушалась въ глазахъ моихъ — я видѣлъ, я чувствовалъ это, и перенесъ это — меня подкрѣпляла надежда, жажда мести. Я поклялся прахомъ отца и тѣнью матери, поклялся всѣми страшными и священными клятвами для человѣка, отомстить злодѣю неумолимо. Но я не хотѣлъ смѣшивать съ кровью послѣднихъ минутъ Фелиціи; я молчалъ о моемъ намѣреніи. Звѣзда души моей гасла чиста и невинна!... Такъ блещетъ луна передъ закатомъ своимъ въ зимнюю ночь — мракъ и холодъ окружали меня.

Когда въ послѣдній разъ видѣлъ Фелицію, она предчувствовала свою кончину, и я не могъ ея не предвидѣть. Не знаю, съ чѣмъ сравнить жестокую извѣстность, которая близилась... я былъ внѣ себя... въ безуміи умолялъ я ее — если не суждено намъ еще однажды видѣться здѣсь — чтобы хоть тѣнь

ея явилась передъ тѣмъ днемъ, въ который кончатся мои земныя бури и страданія. Это будетъ разсвѣтомъ моего будущаго блаженства, говорилъ я... дай мнѣ на этой землѣ вкусить небесную радость! — О если бъ это было въ моей власти, отвѣчала она: я бы слетѣла, какъ лучъ, вѣстникомъ соединенія! — Кто любитъ, тотъ вѣритъ,— возражалъ я — и почему Богъ не исполнитъ невиннаго желанія людей, рожденныхъ другъ для друга и только страдавшихъ другъ за друга!

Она съ улыбкою пожала мнѣ руку. — Послѣдняя молитва моя къ Богу будетъ объ этомъ, сказала она; — но послѣдняя просьба моя къ тебѣ — не мсти за меня графу! Она не могла кончить рѣчи и лишилась чувствъ— и я долженъ былъ оставить ее въ такомъ положеніи!... Легче, во сто разъ легче было бы мнѣ разставаться съ душею, чѣмъ тогда съ любезною! Она умерла — и не я закрылъ ей очи!... и кто лишилъ меня этого горестнаго утѣшенія, кто, если не Остроленскій? — Послѣдній завѣтъ, послѣдняя воля ея была прощеніе — но могъ ли я простить ему!!

Судьба противостала и злобнымъ и мирнымъ моимъ желаніямъ; вскорѣ послѣ похоронъ Фелиціи она оторвала меня даже отъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ бы я могъ выплакать душу,

ак цвѣтокъ намогильный. Я былъ посланъ
емонтеромъ на всю дивизію внутрь Малорос-
іи и, воротясь черезъ два года въ полкъ,
зналъ, что графъ Остроленскій, обвиненный
головно за жестокость съ крестьянами, бѣ-
галъ во Францію, и вступилъ тамъ въ служ-
у Наполеона.

Радостенъ былъ я, когда загорѣлась нынѣш-
ая война. Мысль кончить по крайней мѣрѣ со
лавою жизнь безъ счастія, утѣшала меня.
Есть врагамъ, разорителямъ отечества, меня
душевляла, но и собственная, сердечная
есть меня не покидала ни въ походахъ, ни
ь сраженіяхъ. Приближаясь нынѣ къ мѣстамъ,
голь для меня памятнымъ, она заговорила
ь душѣ громче, нежели когда нибудь. Я сы-
алъ золото, разсылая Жидовъ провѣдать, не
дѣсь ли графъ Остроленскій. Вчерась о-
инъ изъ кровопродавцевъ воротился съ вѣстью,
го графъ точно здѣсь и возмущаетъ около-
окъ къ отпору. Я выпросился у генерала прим-
нуть къ вашему отряду, и поскакалъ вслѣдъ
вами съ однимъ ординарцемъ. Остальное
ы знаете — кромѣ заключенія!...

Тутъ латникъ остановился, глаза его сно-
засверкали гнѣвомъ и кровь пятнами всту-
ила въ лицо...

— Я увидѣлъ въ схваткѣ бѣгущаго Графа,

продолжалъ онъ: слѣдилъ, я достигъ его, да
леко отъ замка. Конь его застрѣленный мнок
палъ и придавилъ собою злодѣя. Палашъ мо
сверкнулъ надъ его головою. О! какъ сладк
были для слуха моего мольбы врага о поща
ды! Подлецъ! онъ не умѣлъ и умереть благо
родно; онъ не выкупилъ ни одною минутою
твердости черной своей жизни. Какъ унизи
тельно выпрашивалъ онъ, будто милостыни
чтобъ я далъ ему время раскаяться! — Нѣтъ
злодѣй! я не дамъ тебѣ раскаяться! ты пре
вратилъ въ адъ мое небо — ступай же самъ
въ вѣчный адъ! Я могъ бы простить свою
собственную, кровную обиду; но тысячи обидъ
нанесенныхъ существу драгоцѣннѣйшему для
меня всего на свѣтѣ, съ которымъ ты разлу
чилъ меня — этого не могъ, и не долженъ
былъ я простить. Это было выше души моей
— и съ ожесточеніемъ вонзилъ ему въ грудь
свой кинокъ.

Въ это время вошелъ вахмистръ мой съ ра
портомъ и за приказаніями для похода.

— Спрашивай о томъ у г-на маіора, ска
залъ я, указывая на латинка.

Онъ вскочилъ.

— У меня одно приказаніе для нашего от
ряда, г-нъ ротмистръ, отвѣчалъ онъ: одно

мокъ со всѣхъ сторонъ, — хочу, чтобъ и самая память Остроленскаго погибла подъ пепломъ!

Я склонилъ голову въ знакъ согласія; — скоро заиграла труба. Мы едва успѣли сѣсть на коней, какъ замокъ испыхнулъ столпомъ. Латникъ долго ѣхалъ, оборотясь назадъ, будто любовался пожаромъ; но когда лѣсъ заслонилъ насъ даже и отъ дымнаго облака, онъ впалъ въ глубокую думу; мы не хотѣли докучать ему нескромнымъ участіемъ, и ѣхали тихо, безмолвно.

Вдругъ мой латникъ будто проснулся отъ сна.

— Господа! произнесъ онъ: прошу васъ, какъ товарищей, отошлите этотъ кошелекъ въ мой эскадронъ. Пускай поминаютъ меня мои добрые кирасиры! Отправьте также эти бумаги къ брату моему (онъ назначилъ адресъ) — онѣ будутъ ему весьма нужны... наконецъ простите меня сами — не осуждайте память мою — сегодня, непремѣнно сегодня я буду убитъ! Тѣнь Фелиціи посѣтила меня въ прошлую ночь!

Мы изумились, слыша, съ какимъ увѣреніемъ говорилъ человѣкъ воспитанный о предо смерти

.. Впрочемъ мы очень осторожно старались разувѣрить его.

— Вы видѣли портретъ Фелиціи, маіоръ, а онъ могъ продлить заблужденіе. Кровь ваша была вчерась такъ взволнована, такъ воспалена! сказалъ я.

Латникъ горько улыбнулся.

— Господа! отвѣчалъ онъ: можетъ быть я не могу такъ же красно, какъ вы, толковать о ложности предчувствій, о невозможности сообщенія живыхъ съ умершими ... но я вѣрилъ этому такъ жадно, такъ долго — эта вѣра была моею отрадою — какой-то голосъ въ душѣ говоритъ мнѣ, что я не обманутъ. Отечеству посвятилъ я жизнь мою — но умереть хочу для себя! За границею этого міра ожидаетъ меня Фелиція!!

Болѣе не молвилъ онъ ни слова.

Подъ вечеръ вышли мы на Виленскую дорогу и соединились съ главнымъ отрядомъ славнаго нашего Сеславина,—къ ночи налетѣли мы на Ошмяны—тамъ былъ самъ Наполеонъ.

Не смотря на превосходство Французовъ въ силахъ, мы ударили въ нихъ, какъ громъ. Самъ начальникъ нашъ съ Ахтырцами врубился въ средину города — мы ворвались туда со всѣхъ сторонъ; крикъ,—тревога,—пальба—

сабли и штыки въ работѣ, но темнота, подарившая насъ побѣдою, укрыла Наполеона отъ поисковъ нашихъ. Если бъ мы знали мѣсто ночлега, Ошмяны бы были Геркулесовскими столбами его поприща.

Но видно, судьба судила иначе — онъ ускакалъ.

На завтра, на разсвѣтѣ, я съ поручикомъ Зарницкимъ выступалъ изъ Ошмянъ въ арріергардѣ нашего летучаго отряда. На улицахъ лежали еще трупы убитыхъ; многіе домы дымились послѣ пожара... живые прятались по угламъ. Мы тянулись черезъ площадь, на которой Французы держались упорнѣе прочихъ мѣстъ. Тѣла лежали на тѣлахъ ободранныя, обезображенныя. Вдругъ Зарницкій осадилъ коня, спрыгнулъ съ него и припалъ къ какому-то трупу...

—Боже мой! сказалъ онъ: посмотри, Жоржъ, это нашъ латникъ!

Въ самомъ дѣлѣ то былъ онъ, и обнаженъ весь; кирасъ его брошенъ былъ не далеко въ грязи, но каска на головѣ и палашъ въ стиснутой рукѣ остались. За оружіемъ никто не гнался. На тѣлѣ его видны были нѣсколько ранъ пулями и штыками. Выраженіе лица его сохранило еще гордость и угрозу — но на немъ не видѣлось ни слѣда страстей,

обуревавшихъ его молодость—оно было свѣтло и спокойно.

— Нашелъ ли ты миръ, котораго не зналъ въ жизни? сказалъ я, качая головою.

— Дай Богъ! прибавилъ Зарницкій: чудный человѣкъ! ты задалъ мнѣ чудную загадку. Въ самомъ ли дѣлѣ тѣнь Фелиціи была вѣстницей твоей смерти, или вѣра въ заблужденіе заставила найти ее?

— Не пройдетъ, можетъ статься, трехъ часовъ — и Французская пуля разрѣшитъ кому нибудь изъ насъ эту тайну, возразилъ я.

Задумавшись, стояли мы надъ тѣломъ убитаго товарища . . . эскадронъ прошелъ . . . звукъ трубы вызвалъ насъ изъ забвенія.

Мы вскрыгнули на коней и, молча, поскакали впередъ.

ЗАМОКЪ ВВЕДЕНЪ.

(Отрывокъ изъ „дневника варшавскаго офицера.)

Маія 23, 1821 года.

Говорятъ, маршрутъ перемѣненъ, и полкъ нашъ станетъ въ Венденѣ.

И такъ я увижу сей столичный городъ древняго Ливонскаго рыцарства, ископи знаменитый битвами, осадами, усѣянный костями храбрыхъ, запечатлѣнный кровію основателя. Виппо-фонъ-Рорбахъ, первый магистръ Мечепоснаго Ордена, построилъ Венденъ, первый замокъ въ Ливоніи *. Любуясь величавыми его стѣнами, онъ не мыслилъ, что онѣ скоро

* Кромѣ Вендена, построеннаго въ 1204 году, онъ выстроилъ замки: Сегевольдъ и Атераденъ.

обратятся въ его гробъ; не думалъ, что трофеи побѣдъ станутъ свидѣтелями его смерти, и смерти безславной.

Рыцари, воюя Лифляндію, покоряя дикарей, изобрѣли все, что повторили послѣ того Испанцы въ Новомъ Свѣтѣ на муку безоружнаго человѣчества. Смерть грозила упорнымъ, унизительное рабство служило наградой покорности. Напрасно папы гремѣли проклятіями на хищниковъ священныхъ правъ человѣчества, вотще напоминали крестоносцамъ ихъ обѣтъ братской любви къ побѣжденнымъ, пріявшимъ крещеніе, и кротости съ обращаемыми въ христіанство: кровь невинныхъ лилась подъ мечемъ воиновъ и подъ бичами владѣльцевъ. Вооружаясь за священную правду, рыцари дѣйствовали по видамъ алчнаго своекорыстія или звѣрской прихоти. Старшины Ордена примѣромъ своимъ вливали соревнованіе въ подчиненныхъ; жестокость служила правомъ къ возвышенію, и Рорбахъ не даромъ былъ магистромъ.

Однажды, въ красный день осени, со стаей собакъ, выѣхалъ онъ полевать въ лугахъ и лѣсахъ сосѣднихъ.

Людная дворня толпилась вокругъ его: доѣзжачіе, вооруженные копьями, скакали на Литовскихъ коняхъ, съ гордостью грызущихъ

непривычное имъ желѣзо мундштука германскаго; стремянные, съ ножами за поясомъ, вели на сычкахъ любимыхъ собакъ господина, и старый ловчій съ звонкимъ рогомъ за спиною, на Крымскомъ жеребцѣ *, поодаль слѣдовалъ за охотниками, и каждому назначалъ мѣсто, когда гончіе изъ острова выгонятъ зайца, или подпишутъ сѣраго волка или хитрую лисицу. Окрестнымъ поселянамъ приказано было оставлять работы свои и спѣшить въ лѣсъ, чтобы крикомъ выгонять робкихъ его обитателей.

— Вассалы рыцаря Вигберта-фонъ-Серрата не слушаютъ твоихъ приказаній! сказали магистру его посланцы, и магистръ закипѣлъ гнѣвомъ, поскакалъ къ ослушникамъ, и бичи засвистѣли надъ ихъ головами.

— Остановись, Рорбахъ! вскричалъ Вигбертъ, приближаясь къ магистру: остановись! — я не велѣлъ имъ тебя слушаться.

— Тѣмъ хуже для тебя, Серрать!

— Но тѣмъ страшнѣе, что ты наказываешь ихъ за повиновеніе къ владѣльцу.

— Фонъ-Вигбертъ, кажется, не въ шутку вступается за этихъ бездѣльниковъ.

— Для меня нѣтъ тамъ шутокъ, гдѣ страждетъ человѣчество. Неужто для одного наружнаго украшенія начертали мы кровавый крестъ на груди своей? Крестъ, символъ благости и терпѣнія?

— Терпѣнія — для вассаловъ? Эти получеловѣки служатъ, покуда у нихъ рогатки на шеѣ и страхъ надъ головою! Коротко и ясно, Вигбертъ, не у тебя первато, не у тебя послѣдняго я это дѣлаю: повинуйся . . .

— Другіе мнѣ не указъ. Пусть они подражаютъ тебѣ, пусть тебя превосходятъ; я ставлю въ честь быть защитникомъ моихъ вассаловъ, и не попущу угнетать ихъ никому, ни для чего. Одному удивляюсь, магистръ, что ты, избранный нами въ блюстители правосудія, нарушаешь всѣ его законы!

— Рыцарь! я не прошу твоихъ совѣтовъ, не хочу слушать выговоровъ; но ты обязанъ слушаться приказовъ магистра.

— Вѣрю, магистръ, что ты не охотникъ до правды; но терпѣнье мое вырвалось изъ границъ. Я молчалъ, когда ты тешилъ серцъ въ рощахъ моихъ, на моихъ заповѣдныхъ лугахъ травилъ зайцевъ; но теперь, когда Богъ дастъ сѣнокосную погоду, а ты отрываешь руки

отъ безцѣннаго труда, когда топчешь копями хлѣбъ, орошенный кровавымъ потомъ, когда, наконецъ, казнишь подданныхъ за послушаніе къ власти, я долженъ былъ высказать, что сказалъ.

— А я сдѣлаю, что дѣлалъ. — Рыцарь фонъ-Серратъ! властію магистра приказываю тебѣ послать васса[illegible] куда мнѣ вздумается.

— Рорбахъ [illegible]ъ-Рорбахъ! вспомни, что ты [illegible] того ль облечетъ ты властію, [illegible]ять ее на смѣхъ? Магистръ Ме[illegible]ена посылаетъ — гонять зайцевъ.

— ,Дерзкій! [illegible]ться. Послѣдній разъ говорю тебѣ: повинуйся!

— Требуя излишняго, ты потерялъ должное; не повинуюсь.

— Возмутитель, бунтовщикъ! или не узнаешь во мнѣ магистра?

— Не узнаю, привыкши видѣть магистровъ на полѣ ратномъ или въ судѣ правды — не съ арапниками, не въ разбоѣ.

— Вѣдаешь ли, грубіянъ, чему подвергаешься ты неуваженіемъ къ этой мантіи?

— Я только жалѣю, что она кроетъ человѣка, который долженъ напоминать о своемъ санѣ, забывая свой долгъ. Вижу въ ней до-

стоинство Ордена, и не вижу въ тебѣ чести рыцарской . . .

— Презрѣнная тварь! благодари судьбу, что со мною нѣтъ меча моего . . .

— Малодушный хвастунъ! хвались храбростію передъ Эстами, разгоняемыми звукомъ шпоръ; но мое стремя не дрожало въ болхъ, копье не опиралось на крюкъ* въ турнирахъ, между тѣмъ какъ сѣдло твое часто холодѣло безъ тебя, поверженнаго въ пыли . . .

Магистръ не могъ снести послѣдняго укора.

— Подлецъ! вскричалъ онъ въ запальчивости: за твою дерзость, за твои мнѣнія, ты стоишь рабскаго наказанія. Съ симъ словомъ, онъ ударилъ бичемъ безоружнаго Вигберта.

Вигбертъ, окаменѣвъ, скрежеща зубами отъ гнѣва, стоялъ Серрать; — и магистръ былъ уже далеко, когда чувства поступленія излились въ клятвахъ и угрозахъ. —

Вотъ письмо, написанное имъ къ магистру рукою канеллана**.

---

* Подъ правымъ плечомъ рыцарской кирасы придѣлывался желѣзный крючокъ, на который, для твердости въ рукѣ, упирали рыцари средину копья, взявши его на перевѣсъ (en arrêt).

** Рѣдкіе изъ рыцарей умѣли грамотѣ, и домовые *канеллаты исправляли* у нихъ должность секретарей.

Благородный рыцарь Виверть фонъ-Серратъ

къ Рорбаху.

Обида моя требуетъ крови, и я повергаю перчатку къ ногамъ обидчика. Пусть огроменъ щитъ Рорбаха, за то не коротокъ и мечъ мо[illegible] отвергнуть бой честный: кто [illegible]е дастъ отвѣта копьемъ, тот[illegible]и разбойника. Въ случаѣ отв[illegible] честію рыцарскою — посл[illegible]ови Рорбаховъ застынетъ на [illegible].

Магистръ отвѣча[illegible]мъ:

Магистръ Ливонскаго Меченоснаго Ордена, хранитель Рижскаго епископа и владѣлецъ почти замковъ, Винно Родольфъ фонъ-Рорбахъ.

Виверту.

Мнѣ никако пагибаться за твоей перчаткой. Щитъ отцевъ моихъ широкъ не изъ робости, но для герба, который чистили твои предки; а мечами развѣ тогда мы помѣряемся, когда петля, тебя ожидающая, станетъ почетнѣе золотой магистерской цѣ-

тву, искать по себѣ сопротивниковъ; тамъ, говорятъ, за битаго даютъ двухъ небитыхъ. Что жъ до угрозъ твоихъ, онѣ мнѣ забавны. Я слишкомъ презираю тебя, чтобы страшиться.

Вендень.

— Ты произнесъ свой приговоръ, презрѣвъ судъ Божій благословеннымъ оружіемъ *, сказалъ Серратъ, и послѣдняя слеза до сихъ поръ невинной совѣсти канула на убійственное лезвее кинжала.

День на-вечерѣ, солнце тихо садится, и лучи его, какъ бы не-хотя, меркнутъ въ цвѣтномъ зеркалѣ оконъ Венденскихъ. Зарево гаснетъ — угасло, и холодный туманъ уже встрѣтился съ мракомъ востока.

Ужинъ въ замкѣ окончился; тяжкій стаканъ празденъ, и магистръ, какъ домоводъ, на дубовыхъ креслахъ, посреди кубіасовъ **, вооруженныхъ хвостатыми бичами, отбираетъ отчетъ дневной работы, назначаетъ утреннюю, распредѣляетъ кары. Угрозы его вторятся го-

---

* Такъ мыслили въ тѣ варварскія, непросвѣщенныя времена. Всякая распря, всякая обида рѣшалась оружіемъ, и побѣдитель считался оправданнымъ самимъ Судіею Небеснымъ.

** Кубіасъ — староста.

тическими сводами и заставляютъ трепетать подобострастныхъ вассаловъ. Наконецъ патеръ возвышаетъ голосъ вечерней молитвы, и всѣ домашніе на колѣнахъ читаютъ за нимъ Credo и Ave Maria. Земные поклоны заключаютъ молитву; каждый цѣлуетъ распятіе, и вотъ огни замелькали по [illegible] голоса едва перешептываются с[illegible]; но скоро умолкаетъ самый п[illegible], и мертвый сонъ воцарился по[illegible]

Золоторогій [illegible] свѣтитъ сквозь облако; дремлю[illegible]шелохнетъ, и черная тѣнь баше[illegible]лежитъ на поверхности водъ. И[illegible]енье вспорхнувшаго вѣтерка струитъ складки знамени гермейстерскаго и, низнавъ, онѣ снова объемлютъ древко. Одно мѣрное бряцанье палаша часоваго раздается по стѣнамъ замка. То, опершись на копье, онъ погружаетъ наблюдательные взоры свои въ темную даль, — то въ мечтахъ объ оставленной родинѣ, о далекой невѣстѣ, напѣваетъ старинную пѣсню. Онъ поетъ:

О звуки грустные, летите
Къ моей красавицѣ, Бригитѣ!
Давно меня мой добрый конь
Умчалъ дорогою чужой;
Но не погасъ любви огонь
Подъ тяжкой бронею стальною.

А ты, въ родимой сторонѣ,
Вѣрна, иль измѣнила мнѣ?

Въ походахъ дальнихъ, на пирахъ,
Опершись въ боевое стремя,
Ты мнѣ казалася въ мечтахъ:
Я вспоминалъ былое время.

Наявѣ съ милой и во снѣ;
А ты грустишь ли обо мнѣ?

За честь твоихъ, Бригита, глазъ,
Не первый ланецъ изломался,
И за тебя твой шарфъ не разъ
Моею кровью орошался.

А ты, въ далекой сторонѣ,
Готовишь ли награду мнѣ?

Богатый изумрудъ сверкалъ
На нѣжной шеѣ дѣвы плѣнной, —
Я для тебя его сорвалъ,
Рукой любови неизмѣнной.

Для золота, для красоты,
Ужель мнѣ измѣнила ты?

Я видѣлъ смерть не вдалекѣ:
На камняхъ Сиріи печальной,
Мой конь споткнулся — и въ рукѣ
Мечъ разлетѣлся, какъ хрустальной,

Булатъ убійственный блисталъ,
Но я Бригиту призывалъ!

? . . .

Блудящій огонь по болоту приводитъ его въ суевѣрный страхъ, и онъ, стыдясь боязни своей, закутывается въ плащъ, будто проникнутый холодомъ.

Но чья тѣнь мелькаетъ въ парахъ, напѣвающихъ току рѣки въ глуши дикаго лѣса? Не привидѣніе ли то, стражъ клада князей Герсики *, погибшихъ въ дебряхъ? Или то жестительный вайделотъ ** исторгается въ часъ полуночи, для призванія чарами адскихъ духовъ на сѣчу пришельцевъ — разрушителей Перкуна? Но грудь его не обвѣшена волшебными кольцами, одежда не сходствуетъ съ одеждою Эстовъ; его огромный станъ покрытъ синею германскою епанчею.

Можетъ быть, то запоздалый охотникъ спѣшитъ къ очагу, гдѣ розовый пламень крутится вкругъ кипящаго котла; но гдѣ жъ его стрѣлы? гдѣ его чуткіе псы?

Нѣтъ, это не запоздалый стрѣлецъ.

Онъ не ищетъ, но крадется самъ, тихо сту-

---

* Альбертъ сжегъ Герсику въ 1208 году. Весволодъ, князь оной, спасся бѣгствомъ; многіе изъ приближенныхъ къ нему послѣдовали ему и, вѣроятно, погибли въ лѣсахъ при-Двинскихъ, вмѣстѣ съ унесенными сокровищами. — Народное жъ мнѣніе, будто надъ кладами блуждаютъ привидѣнія, живетъ и до сихъ поръ.

** Вайделоты — жрецы и вѣщіе волхвы Эстонскіе.

пая по хрупкому листу. По яростнымъ взорамъ, вырывающимся изъ-подъ бровей, скорѣе можно принять его за разбойника, замышляющаго грабежъ; но латами вытертый колетъ изъ замши, рыцарскій воротникъ видны подъ епанчею, и бляхи желѣзной перчатки сверкаютъ, когда онъ разводитъ вѣтви, преграждающія путь.

Такъ, это рыцарь, хотя шпоры не гремятъ на полусапожкахъ его и перья не волнуются надъ головою.

Уже неизвѣстный рыцарь на краю рва — онъ измѣряетъ взоромъ преграды — и я узнаю въ немъ фонъ-Серрата.

— Высоки стѣны твои, Рорбахъ! мыслитъ онъ: но выше ихъ рѣшимость человѣческая; широки рвы замка, но крылатъ вымыселъ мести; число твоей стражи велико — тѣмъ больше ея безпечность.

Серратъ вяжетъ и повергаетъ нѣсколько сноповъ въ воду. Съ отвагой въ душѣ, подъ кровомъ тумановъ, плыветъ онъ по дремлющей глуби, уже готовъ схватиться за рѣшетку отдушины; но скользкій плотъ измѣняетъ, рыцарь погружается въ воду . . . дикая утка, испуганная шумомъ, съ крикомъ улетаетъ прочь, и стражъ, внемля свисту крылъ ея, не дивится, что ему почудился плескъ волны.

Но рыцарь выплылъ, и, вонзая кинжалъ въ пазы, уже забирается на стѣну, лѣпится по неровностямъ камней, и вотъ виситъ подъ верхнимъ поясомъ. Силы ему измѣняютъ, нога скользитъ — еще мигъ, и онъ оборвется; но онъ уже на верху.

Проснись, Рорбахъ, или часъ твой близокъ! Ужели не слышишь крика ласточки надъ окномъ твоимъ? не слышишь граянія воронъ, тучей поднявшихся съ башенъ замка?

Нѣтъ! пагубный сонъ тѣснитъ магистра въ объятіяхъ. Окошницы вырваны съ петель, холодный воздухъ свѣваетъ пыль съ завѣсы и пламя лампады трепещетъ, шаги убійцы звучатъ, — но онъ спитъ, и желѣзная перчатка Вигберта упала на плечо его прежде, чѣмъ открылъ онъ глаза свои; открылъ — и вѣки, будто свинцовыя, снова закрылись. Въ волненіи ужаса и надежды, ему кажется блѣдное лицо Серрата будто въ сновидѣніи или въ мечтѣ; но зловѣщій голосъ, какъ звукъ судной трубы, возбудилъ и омертвилъ его разомъ.

— Мщеніе и смерть магистру! прогремѣлъ Серратъ, стаскивая его съ постели: смерть, достойная жизни! Напрасно блуждаешь ты взорами окрестъ — помощь далека отъ тебя, какъ отъ меня состраданье. Отъ чего жъ тре-

пещешь ты, подлый обидчикъ, воинъ среди поселянъ, безстрашный съ своимъ капелланомъ? Для чего пресмыкаешься, гордецъ передъ врагомъ презрѣннымъ? Меня не смягчатъ твои просьбы, не поколеблютъ угрозы — ты не вымолишь прощенія! да и стоитъ ли его тотъ, кто дважды лишилъ меня чести, а дѣтей моихъ добраго имени. Пусть я умру на плахѣ убійцею; за то щитъ мой не задернется безчестнымъ флеромъ на турнирахъ, и мой сынъ, не краснѣя за трусость отца, подниметъ наличникъ для полученія награды. Ты презрѣлъ вызовъ мой, не хотѣлъ честно преломить копья съ обиженнымъ, — узнай же, какъ платитъ за обиды Серратъ!

Съ симъ словомъ ринулся онъ на магистра; но отчаяніе зажгло въ немъ мужество, и ужасный вопль огласилъ своды.

Смѣло схватилъ онъ грозящее лезвее, и сдавилъ Серрата мощными руками. Цѣпенѣя отъ ярости, грудь на грудь смертельнаго врага, рыцари душатъ другъ друга. Месть воспламеняетъ Вигберта, страхъ смерти сугубитъ силы магистра — они крутятся, скользятъ и падаютъ оба! Идутъ, идутъ спасители — оружіе гремитъ, крики ихъ раздаются по коридорамъ; съ трескомъ упали двери, воины магистра съ

мечами и факелами ворвались въ комнату . . . но уже поздно!

Кровь Рорбаха оросила ножесть — преступленіе свершилось!

Не стало магистра, но власть его осталась, и самосудный убійца, растерзанный муками, погибъ на колесѣ *.

Ненавижу въ Серратѣ злодѣя; но могу ли вовсе отказать въ состраданіи несчастному, увлеченному духомъ варварскаго времени, силою овладѣвшаго имъ отчаянія? . . .

---

* Описанное здѣсь происшествіе случилось въ 1208 году.

РЕВЕЛЬСКІЙ ТУРНИРЪ.

«Вы привыкли видѣть рыцарей сквозь цвѣтныя стекла ихъ замковъ, сквозь туманъ старины и поэзіи.—Теперь я отворю вамъ дверь въ ихъ жилища, я покажу ихъ вблизи и по правдѣ.

въ колоколовъ съ Олая великаго звалъ жанъ къ вечерней проповѣди, а еще въ ѣ все шумѣло, будто въ праздничный нь. Окна блистали огнями, улицы кипѣродомъ, колесницы и всадники не разъѣсь.

это время рыцарь Бернгардъ фонъ Бурт спокойно сидѣлъ подъ окномъ въ Ресомъ домѣ своемъ, за кружкою пива, ждая о завтрашнемъ турнирѣ, и любуясь ь цвѣтное окно, на толпу народа, кото- *притекала* и утекала по улицѣ, только

именемъ *широкой*. Судя по бородѣ, по собственному его выраженію, съ серебряною насѣчкой, то есть съ сѣдиною, Буртнекъ былъ человѣкъ лѣтъ 50-ти, высокаго и когда-то статнаго роста. Черты его открытаго лица показывали вмѣстѣ доброту и страсти, незнавшія ни узды, ни шпоры; природное воображеніе и пріобрѣтенное невѣжество.

Зала, въ которой сидѣлъ онъ, обита была дубовыми досками, на коихъ время и червяки вывели предивные узоры. По угламъ, со всѣхъ панелей развѣвались фестонами кружева Арахны. Печка, подобіе рыцарскаго замка, смиренно стояла въ углу, на двѣнадцати ножкахъ своихъ. На лѣво дверь, завѣшенная ковромъ, вела въ женскую половину черезъ трехступенный порогъ. На правой стѣнѣ, въ замѣну фамильныхъ портретовъ, висѣлъ огромный родословный листъ, на которомъ родоначальникъ Буртнековъ, простертый на землѣ, любовался исходящимъ изъ своего лона деревомъ съ разноцвѣтными яблоками. Верхнее яблоко, украшенное именемъ Берингарда Буртнека, остальнаго представителя своей фамиліи, дородностію своею, въ отношеніи къ прочимъ, величалось, какъ мѣсяцъ передъ звѣздами. Подлѣ него, въ лѣвую сторону внизъ, спускался коронованный кружекъ съ именемъ Ми-

ны фонъ... Безцвѣтность будущаго скрыва-
ла остальное, а раззолоченные гербы и ара-
бески, на подобіе тѣхъ, коими блестятъ на-
ши Вяземскіе пряники, окружали дерево по-
колѣній.

— Нагулялся ли ты, любезный докторъ? спро-
силъ Буртнекъ [illegible] въ комнату Любча-
нина Лонціуса [illegible] пріѣхалъ на Сѣверъ
попытать счас[illegible]и, и остался въ Ре-
велѣ, отчасти [illegible] разсказами о жесто-
кости Москов[illegible] и задержанный го-
родскою ду[illegible] не любила пропу-
скать на вра[illegible]сь ни лекарей, ни
просвѣтителей. [illegible]имолвить, что онъ
своимъ плавкимъ нравомъ и забавнымъ умомъ
сдѣлался необходимымъ человѣкомъ въ домѣ
Буртнека. Никто лучше его не разнималъ
индѣйки за обѣдомъ, никто лучше не откупо-
ривалъ бутылки Рейнвейна, и баронъ только
отъ одного Лонціуса слушалъ правду, не взбѣ-
сившись. Ребятъ забавлялъ онъ, представ-
ляя на тѣни пальцами разныя штучки и дѣ-
лая зайца изъ платка. Старой тетушкѣ щу-
палъ пульсъ и хвалилъ старину, а племянни-
цу заставлялъ краснѣть отъ удовольствія, под-
шучивая на счетъ кого-то милаго.

— Нагулялся ли ты! повторилъ баронъ, отп-
рая съ усовъ своихъ пѣну.

— И съ пользою нагулялся, баронъ, отвѣчалъ весельчакъ-докторъ, выгружая изъ кармановъ своихъ, будто изъ теплицъ, разнородныя растенія. Вотъ цѣлые пучки лекарственныхъ кореньевъ, собранныхъ мною, и гдѣ бы вы думали?... на Вышегородскихъ укрѣпленіяхъ!... Эту полынь, напримѣръ, цѣлительную въ видѣ желудочныхъ настоекъ, сорвалъ я въ трещинѣ главной башни; эту ромашку выдернулъ изъ затравки одного ржаваго орудія, и я конечно бы собралъ на стѣнѣ гораздо болѣе травъ, если бы комендантскія коровы не сдѣлали тамъ прежде меня ботаническихъ изслѣдованій.

— Ну какова же тебѣ кажутся наши неприступныя, грозныя бойницы?

— Ваши грязныя бойницы, баронъ, мнѣ кажутся неприступными для самого гарнизона, потому что всѣ входы обрушены, а грозны онѣ только издали: половина пушекъ отдыхаетъ на землѣ, на валахъ цвѣтетъ салатъ, а въ башняхъ я право больше видѣлъ запасеннаго картофелю, нежели картечей.

— Да, да . . . это сказать — такъ стыдъ, а утаить — такъ грѣхъ! хорошо еще, что такая оплошность со стороны моря. Вѣдь сколько разъ говорилъ я гермейстеру, чтобы поста-

вить всѣ пушки на дыбы, и не давать растаскивать ядеръ на поварни!

— Славно сказано, баронъ; еще лучше, когда бъ это исполнилось. Тогда перестали бы Ревельцы подчивать пріятелей, какъ ихъ подчуютъ Русскіе, каленными ядрами въ видѣ пирожковъ. Не далѣе, какъ вчерась, я насилу залилъ пожаръ моего желудка, вспыхнувшаго отъ подобнаго брандскугеля.

— И заливать конечно не водою, докторъ?

— Безъ сомнѣнія, мальвазіею, г. баронъ. Неужели вы не знаете, что многія вещества отъ воды разгораются еще сильнѣе? а нашъ дикой перецъ конечно стоитъ Греческаго огня.

Баронъ имѣлъ похвальную привычку соглашаться съ тѣмъ, чего не зналъ. И потому онъ съ важною улыбкою одобренія отвѣчалъ доктору: знаю . . . знаю; но между прочимъ не желая обжечься этимъ Греческимъ огнемъ, онъ подвинулъ къ Лонціусу кружку съ пивомъ и предложилъ ему потушить остатки вчерашняго пожара.

— Тебѣ завтра будетъ вдоволь работы, продолжалъ онъ, сводя разговоръ на турниръ.

— Работы, баронъ? развѣ я кузнецъ! отвѣчалъ

докторъ, вымѣшивая каждое слово на глотокъ пива. Зачѣмъ вамъ хирурги, когда вы ломаете не ребра, а латы! Съ тѣхъ поръ, какъ выдуманы эти проклятые сплошные кирасы, нашему брату приходится вспомнить о своихъ опытахъ, словно сказку о семи Семіонахъ. Велика очень храбрость, залѣзть въ желѣзную скорлупу, да и стоять въ битвѣ наковальней! Право, отъ вашего вооруженія болѣе терпятъ копи, чѣмъ непріятели!...

— Полно, полно, Густавъ, хулишь наши брони за то, что онѣ берегутъ насъ отъ вражьихъ мечей и твоихъ ланцетовъ. Спроси-ка лучше у Русскихъ, любы ли онѣ имъ! Наши латники гоняютъ кольчужниковъ тысячами.

— Для того-то Русскіе и не ждутъ вашихъ конныхъ бойницъ, а любятъ заставать васъ по домашнему — въ замшѣ. Сказываютъ, въ Новгородѣ очень дешевы изъ нея перчатки!... оно и не мудрено: отнятое хоть грошемъ, но дешевле купленнаго.

— Вздоръ, Густавъ, небылица! Клянусь своими шпорами, что если бы Русскіе увезли у меня хоть уздечку — я бы напалъ удальцевъ и выкроилъ изъ ихъ кожъ себѣ подпруги...

— У другихъ съ уздечками они уводятъ и

коней, а ни у одного еще рыцаря не видать подпругъ изъ такого сафьяна.

— У прочихъ . . . у другихъ! . . . другіе мнѣ не указъ. Я увѣренъ, что Русскіе не забудутъ встрѣчъ со мною подъ Магольмомъ, подъ Псковомъ . . . подъ Нарвою!

— Это и я помню наизустъ. Но къ чему толковать намъ о прошлыхъ сраженіяхъ, когда рѣчь завелась о наступающемъ турнирѣ? Не приготовить ли мнѣ перевязку для почтеннаго моего хозяина? Я бы отъ чистаго сердца желалъ, баронъ, чтобы благодѣтельный ударъ вышибъ васъ изъ сѣдла, или чтобы конь вашъ, ревнуя къ славѣ хирургіи — сломалъ бы вамъ руку или ногу. Вы увидѣли бъ тогда искусство Лонціуса . . . и хотя бъ кости ваши прыгали, какъ игральныя косточки въ стаканѣ — я ручаюсь, что черезъ мѣсяцъ вы бы могли сами поднести ко рту кубокъ за мое здоровье.

— Я постараюсь лучше сохранить свое. Нѣтъ, милый мой Лонціусъ, Буртиску не бросать больше изъ сѣделъ противниковъ! не кстати ему мѣрять плечо съ мальчиками. Притомъ же и лѣта отяготили броню мою, а сила руки улетѣла съ ея ударами. Нѣтъ, я не поѣду туда, откуда и не увѣренъ выѣхать. Не замапили бы меня и на эту пирушку, ес-

ли бы не просьбы дочери, и не дѣло съ барономъ Унгерномъ. Гермейстеръ обѣщалъ его на дняхъ окончить.

— Только обѣщалъ? — это не много. Онъ два мѣсяца обѣщаетъ мнѣ пропускъ въ Москву, и до сихъ поръ не даетъ его; хотя я вовсе не прошу г. гермейстера заботиться о здоровьѣ моей головы, которая, по его словамъ, можетъ простудиться отъ обычая снимать тамъ шапки за версту до княжескаго двора, а у забывчивыхъ будто прибиваютъ ихъ гвоздями, чтобы не снесло вѣтромъ. Если онъ и для одноземцевъ такъ же привѣтливъ, какъ для заѣзжихъ, то вы смѣло можете надѣяться, что, явясь сюда съ первыми жаворонками — воротитесь домой позднѣе той поры, когда кулики полетятъ на теплыя воды.

— Можетъ ли это статься! Мое дѣло такъ ясно, какъ мой палашъ, такъ право, какъ эта правая рука.

— За то баронъ Унгернъ, хоть лѣвою, но крѣпко держится за гермейстера; говорятъ, онъ ему съ родни . . .

— А я съ нимъ разнѣ не братъ по Ордену? Нѣтъ, докторъ, о правосудіи не сомнѣваюсь; но желалъ бы поскорѣе убраться *изъ Ревеля*. Здѣсь не то, что въ деревнѣ . . .

пиры да обѣды, отъ гостей, да въ гости — а смотришь, деньги улетаютъ, какъ время, а долги налетаютъ на шею гирями! . . . Золотыми шпорами своими клянусь, — мнѣ скорѣе нечѣмъ будетъ клясться, потому что придется заложить ихъ. Нѣтъ ли у тебя, докторъ, какого заморскаго лекарства отъ денежной чахотки?

— Если бъ оно и было, баронъ, то безъ употребленія бы осталось: у кого есть деньги, тому не нужно лекарства, а у кого ихъ нѣтъ — тому не на что купить его. По умственной алхиміи дознался я, что орвіетанъ отъ болѣзней карманнаго рода есть *умѣренность*.

За этимъ словомъ, не знаю, съ умысломъ или неварочно, докторъ такъ громко брякнулъ стопою объ столъ, что яркій звонъ ея будто выговорилъ: я пуста.

— Понимаю, сказалъ съ улыбкою рыцарь понимаю это нравоученіе; но судя по нашей природѣ, оно останется безъ дѣйствія, точно такъ же, какъ и твои пилюли. Между прочимъ, любезный докторъ, не выпить ли намъ бутылочку рейнвейну, хоть это и противно нашему обряду? Говорятъ, каждая впору вынятая рюмка рейнвейну отнимаетъ

— За то каждая бутылка дастъ ему по два. У васъ очень старое вино, баронъ?

— Не много моложе *потопа*, г. докторъ; но ты увидишь, что оно совсѣмъ не водяно.

Беригардъ свистнулъ, и въ ту же минуту вбѣжалъ, не красивенькой пажъ, какъ это водилось у Французскихъ рыцарей, не оруженосецъ, какъ это бывало у Германскихъ паладиновъ, а просто слуга Эстонецъ, въ сѣрой куртки, въ лосиныхъ панталонахъ, съ распущенными по плечамъ волосами, вбѣжалъ и смирно остановился у притолоки съ работительно-вопросительнымъ лицемъ.

— Друмме! сказалъ ему Беригардъ: скажи ключницѣ Каролинѣ, чтобы она достала изъ погреба одну изъ плоскихъ стклянокъ за зеленою печатью. Я увѣренъ, что она обросла мохомъ и пустила корни въ песокъ, продолжалъ онъ, обращаясь къ Лоренціусу (который уже заранѣе восхищался видомъ рейнской бутылки, любимой имъ, по его словамъ, только за то, что она весьма похожа на реторту), — и мы докажемъ доктору, какъ старое вино молодитъ людей. Да убери эту стопу, Друмме, — слышишь ли, глупецъ!

Друмме, *трепеща*, подкрался къ столу и

такъ бережно взялся за стопу, какъ будто боясь пролить изъ нея воздухъ.

— Чего ты боишься, истуканъ! грозно закричалъ рыцарь: кружка эта пуста, какъ твоя голова . . . куда, нечесаное животное, куда? чего ты ждешь, что ты смотришь на доктора? — я и безъ него тебѣ предскажу березовую лихорадку за твои глупости. Проклятый народъ! продолжалъ Бернгардъ, провожая Друмме взоромъ презрѣнія: скорѣе медвѣдя выучишь плясать, чѣмъ Эстонца держаться по-людски. Еще такъ въ замкѣ они туда и сюда, а въ городѣ — изъ рукъ вонъ; особенно съ тѣхъ поръ, какъ здѣшняя Дума дерзнула отрубить голову рыцарю Икскулю за то, что онъ въ стѣнахъ Ревельскихъ повѣсилъ часа на два своего вассала.

— Признаться, я не думалъ, чтобы у ратсгеровъ вашихъ стало довольно ума, чтобъ выдумать, и довольно рѣшимости, чтобъ выполнить такой законъ.

— Не мое ремесло разсуждать: глупо это, или умно; я знаю только, что оно безполезно. Ну что мнѣ законъ, когда я палашемъ могу отразить обвиненіе, или смыть кровью своей же проступокъ! Притомъ безъ золотыхъ очковъ у закона глазъ нѣтъ; повѣшенный

молчитъ, а живой самъ петли боится*. Но этому-то мы отправляемъ вассаловъ своихъ точно также, какъ вы больныхъ — безотвѣтно. За здоровье рыцарей меча и рыцарей ланцета! Каково вино, докторъ?...

— Гораздо лучше вашихъ обычаевъ. Еще слово, баронъ: для чего же вы иногда прибѣгаете къ суду въ своихъ обидахъ?

— О, конечно не по уваженію къ законамъ, а отъ того, что сила не беретъ управиться иначе. Отъ того-то и я замаралъ пальцы чернилами въ дѣлѣ съ Унгерномъ.

— И по всей вѣроятности, напрасно.

— Все таки вѣроятность лучше невозможности. Да полно объ этомъ; я терпѣть не могу разсуждать головою, а не руками, и всякой разъ, когда мнѣ случится подумать — у меня такъ болитъ голова, будто съ двухъ стопъ Русскаго меду. Сыграемъ лучше партію-другую въ пилькентафель**: это разгуляетъ твою заморскую ученость и повеселитъ мое рыцарское сердце.

— И дастъ движеніе, очень полезное для здоровья. Объ этой игрѣ смѣло можно сказать съ Горапіемъ: utile dulci.

---

* Прошу читателя вспомнить о феодальныхъ правахъ.

** Родъ бильярда.

— Пощади, сдѣлай милость, пощади меня отъ этого язычества; со мною ты смѣло можешь вѣшать его на гвоздикъ, потому что изо всей Латыни я только помню и люблю слово: vale.

Такъ говоря, они вышли изъ залы.

II.

На радугѣ воображенья
Воздушный замокъ строитъ онъ;
Его, любви лелѣетъ сонъ . . .
Но бьетъ минута пробужденья!

Угадываю любопытство многихъ моихъ читателей, не о яблокѣ познанія добра и зла, но о яблокѣ родословномъ, именемъ Минны украшенномъ — и спѣшу удовлетворить его, во-первыхъ потому, что я хочу нравиться моимъ читателямъ, во-вторыхъ: не таюсь — люблю поговорить о прекрасныхъ, хотя не умѣю говорить съ ними.

Послушайте.

Минна, единственная дочь рыцаря Буртнека, была прелестнѣйшая дѣвушка. Въ ея время Лифонія болѣе нынѣшняго изобиловала

красотами, но на свѣтло-кудрыхъ сихъ краса-вицахъ лежала печать безстрастія. Въ тѣни своихъ дѣвичьихъ, онѣ расцвѣтали какъ пол-ные тюльпаны, блестя, но не благоухая. Уда-ленныя не обычаемъ, но привычкою отъ муж-чинъ, потому что имъ нечего было говорить другъ другу, ихъ занятіемъ были одни пере-суды; все ихъ тщеславіе ограничивалось на-рядами, все честолюбіе не стремилось выше верхняго конца за столомъ, или краснаго сту-ла на вечеринкахъ. Сердце было у нихъ пя-гое колесо въ колесницѣ; умъ такая монета, которую никто не могъ оцѣнить, ни размѣнять; а потому эпохи жизни своей онѣ считали отъ балу до балу, и пріятныя воспоминанія повѣ-ряли по расходной книжкѣ. Таковы были по-чти всѣ красавицы Ливонскія, но не такова была Минна. Природа, по словамъ отца ея — не тростниковый клинокъ одѣла въ такія кра-сивыя ножны. Это, «не знаю что-то милое», о-душевляло черты ея лица, — давало велича-вость ея поступи, ловкость пріемамъ, — сла-дость рѣчамъ. Изъ голубыхъ ея очей, изъ-подъ длинныхъ рѣсницъ скользили взоры... но какіе взоры! отъ нихъ вспыхнулъ бы и ледъ. Коротко сказать, Минна была изъ чи-сла тѣхъ красавицъ, которыя поражаютъ кра-сотою и вмѣстѣ плѣняютъ прелестію. Она ра-

но потеряла мать, но мать-природа о ней заботилась. Чтеніе не просвѣтило ее, но книга свѣта была передъ нею, и какое-то понятіе, замѣняющее дѣвицамъ опытность, спасло невинную отъ приманокъ богатства и обольщенія лести. Минна скоро примѣтила, что ея не понимали, что ее любили не такъ, какъ хотѣлось ея возвышенному сердцу, осужденному биться безъ отвѣта; и это невольно-уединенное чувство вовлекло ее въ мечтательность. Воображеніе Минны вырывалось изъ скучнаго круга разряженныхъ куколъ, изъ шумныхъ бесѣдъ рыцарскихъ, и рисовало ей свѣтлѣйшія картины счастія; ея сердце вздыхало о какомъ-то неясномъ, но прелестномъ идеалѣ; а сердце въ 18-ть лѣтъ — порохъ; одна смѣлая искра — и прощай спокойствіе.

Между тѣмъ, какъ баронъ съ докторомъ спорятъ, кто изъ нихъ въ лучшемъ ударѣ, сбивая городки пилькенфеля, Минна въ ближайшей комнатѣ готовила наряды къ завтрему. Въ углу за занавѣсомъ, вокругъ длиннаго стола, сидѣли и что-то шили три Эстонскія дѣвушки, съ бисерными повязками на головѣ, съ серебряными бляхами на груди. Старая тетушка Минны дремала въ другомъ углу подъ тѣнію крылатаго чепчика, уставъ бранить по-

выя моды и неумѣнье племянницы по ея одѣваться. Передъ Миною стоялъ бѣлокурый, статный юноша, сынъ одного изъ богатѣйшихъ купцовъ въ Ревелѣ: онъ принесъ ей вчера заказанную богатую цѣпочку. Синій бархатный шпенсеръ его вышитъ былъ золотою битью; частыя сквозныя пуговицы висѣли, какъ ягоды, по полямъ; золотая бахрама украшала цвѣтные отвороты замшевыхъ сапожковъ, и только недостатокъ шпоръ показывалъ, что онъ не рыцарь; хотя смѣлая осанка и умное лице его давали ему надъ многими изъ нихъ преимущество.

— Такъ вамъ нравится лиловый цвѣтъ, любезный Эдвинъ? сказала Минна, повертываясь передъ зеркаломъ. И вы думаете, что это платье будетъ мнѣ къ лицу?

Прилагательное *любезный* и тогда уже не было лестнымъ, относясь къ низшему; оно и Эдвину напомнило о его состояніи, но сладостно было для его сердца. Однако жъ онъ молчалъ, погруженный въ мечтательное любованіе красотою Минны.

— Пробудитесь, Эдвинъ, сказала она въ половину тронутымъ, въ половину ласковымъ голосомъ.

— Такъ, я грезилъ, фрейлинъ Минна; простите меня, или лучше, самую себя въ томъ

вините. Отъ звука вашего голоса теряешь ужъ прежде, чѣмъ слова дойдутъ до него.

— Мы, кажется, говорили о цвѣтахъ, а не о звукахъ, Эдвинъ!

— Еще разъ виноватъ, фрейлинъ Минна,— я и забылъ, что дамы болѣе любятъ пестроту, чѣмъ гармонію. На вопросъ вашъ, впрочемъ, буду отвѣчать то же вопросомъ... Какой нарядъ не пристанетъ къ стройному вашему стану, какой цвѣтъ, какое украшеніе можетъ возвысить или измѣнить прелестное ваше лице? Эдвинъ договорилъ это привѣтствіе трепещущимъ голосомъ, но былъ доволенъ, что сказалъ его, конечно болѣе читателя, котораго я прошу, хоть для меня, простить моего героя: во-первыхъ потому, что онъ не читалъ ни одного Французскаго словаря комплиментовъ, а во-вторыхъ, стоялъ предъ прекрасною дѣвушкою, къ которой былъ очень не равнодушенъ. Ахъ! кто изъ васъ не казался порой ученикомъ предъ свѣтскими красавицами? Кто не говорилъ имъ неловкихъ похвалъ? Богъ знаетъ почему: когда разыграется сердце — остроуміе прячется такъ далеко, что его не выманишь ни мольбами, ни угрозами. И что ни говори — я не вѣрю многословной любви въ романахъ.

— Есть поддѣльное золото, Эдвинъ; я не беру ея на свой счетъ, сказала Минна.

на холодпѣе: могу ли услышать его, не трогая вашей скромности?

— Ахъ, Минна, вы тронули пѣжную струну!... Со всѣмъ тѣмъ я бы рѣшился сказать, кто она, если бъ не одно любопытство участвовало въ вашемъ вопросѣ.

Между тѣмъ онъ такъ пѣжно глядѣлъ на Минну, что казалось, щеки ея зажглись отъ пламени его взоровъ. Краснѣя, она опустила свои — и молчала, за то сердце говорило тѣмъ громче. Эдвинъ былъ развязенъ, пылокъ, уменъ, Минна чувствительна и прелестна. Онъ умѣлъ и мечтать, и чувствовать, а рыцари Ливонскіе могли только смѣшить, и рѣдко, рѣдко забавлять. — Она любила — онъ возбуждалъ мысли высокія; говорилъ съ жаромъ, если не съ краснорѣчіемъ, и увлекалъ, если не убѣждалъ. Разъѣзжая два года по Европѣ, онъ навыкъ приличіямъ свѣтскимъ, и образованностію, ловкостью далеко превосходилъ рыцарей Ливоніи, которые росли на охотѣ, а мужали въ разбояхъ, рыцарей, непривѣтливыхъ съ дамами, гордыхъ ко всѣмъ, заносчивыхъ между собою, предпочитающихъ напиваться за здоровье красавицъ въ своемъ кругу, чѣмъ проводить время въ ихъ бесѣдѣ. Они думали плѣнить Минну разсказами своей любви, своей вѣрности, — Эдвинъ говорилъ ей о *ней*

самой. Тѣ считали головы убитыхъ ими звѣрей и непріятелей — онъ напоминалъ о плѣненныхъ сю сердцахъ; они заглядывались на ея алмазныя серьги — онъ любовался ея очами. Слѣдствіе угадать не трудно, ибо состоянія выдуманы не для любовниковъ, — и любовь, какъ иной цвѣтъ на безплодномъ утесѣ, растетъ и въ безнадежности. Лавка Эдвинова была первая по городу, и какъ на бѣду, противъ оконъ Буртнекова дома. Тамъ находились всѣ дорогія ткани, всѣ искуственныя издѣлія, жемчугъ и цѣнные камни. Дѣвушки того вѣка любили рядиться не менѣе нашихъ столичныхъ, и лавка прекраснаго Эдвина всегда была полна посѣтителями. Нужно ли сказывать, что Минна ходила туда часто? и хотя лавка сія служила для Ревеля вмѣсто нашего Англійскаго магазина (т. е. мѣстомъ свиданія молодежи), ее влекла туда не одна страсть къ убораж, не одно желаніе всѣмъ нравиться тамъ удерживало. То надобно прикупить бархату, то передѣлать по-новому ожерелье, то распаялось кольцо, то изъ-за моря привезли что-то чудное. И каждый разъ привѣтливый Эдвинъ спѣшилъ къ ниж на встрѣчу, развертывалъ предъ тетушкой штофы, сверкалъ племянницѣ алмазами и — глазами. Разсказывалъ ей про чужбину, — слушалъ ее съ

›схищеніемъ; и обыкновенно горькій вздохъ
›звѣвалъ его блестящіе замки, и онъ со сле-
›ми на глазахъ провожалъ взорами свою лю-
›зную — не сводилъ ихъ съ ея окна — и
› молчаніи изнывалъ, какъ былинка. Тяжко
›бить безъ надежды на счастіе, тяжело безъ
›дежды взаимности; но безпримѣрно тяжелѣ
›дѣть себя любимымъ и не смѣть словомъ
›бви вызвать признанія, жаждать его, какъ
›рады небесной, и бѣжать, какъ преступле-
›я чести; не имѣть права на ревность, и та-
›ъ отъ страха измѣны; винить свой холодъ
ея огорченіяхъ, множить собственныя му-
то упреками противъ любви, то противъ
›га!... Тогда-то страсти изъ кипящаго серд-
черными парами налетаютъ на разумъ и
›онтое отчаніе игрызается въ душу!... О
уги, други! пожалѣйте того, кто любилъ
›добнымъ образомъ.

— И вы могли сказать, что одно любопыт-
во внушило мнѣ вопросъ мой, наконецъ про-
›несла Минна, подпявъ голубыя очи свои съ
›имъ нѣжно-укорительнымъ взоромъ, что су-
›вое выраженіе лица Эдвинова смѣшалось въ
›но мгновеніе съ умилительнымъ, голосъ за-
›рѣ, сердце какъ будто пронзилось — но это
›щеніе было сладостно, как первый вздохъ
-*яну послѣ страшнаго* сна. Души ихъ слились

въ одинъ выразительный, но невыразимый взглядъ.

Минна пришла въ себя.

— И такъ, любезный Эдвинъ, если бъ вы были рыцаремъ, какой цвѣтъ избрали бы вы на завтрашній турниръ?

— На вѣки, навсегда фр. Минна, я бы избралъ цвѣтъ первой красавицы; цвѣтъ составленный изъ небесно-голубаго и украшенья земли, розоваго; я бы избралъ, продолжалъ онъ пламенно, схвативъ ея руку—прелестный, несравненный лиловый цвѣтъ, вашъ цвѣтъ, Минна!

Рука Минны пылала и трепетала; голова ея невольно склонилась на плечо Эдвиново...

—Ахъ! зачѣмъ вы не рыцарь! прошептала она.

Воздушный замокъ Эдвина разлетѣлся.

— Ахъ! зачѣмъ я не рыцарь! вскричалъ онъ внѣ себя: зачѣмъ я злосчастенъ своимъ благополучіемъ!

И въ одно время на рукѣ Минны напечатлѣлись жаркій поцѣлуй восторга и охладѣвшая слеза безнадежности.

— Минна, Минна! закричалъ отецъ изъ другой комнаты.

— Минна! повторила въ просонкахъ ея те-

III.

Въ любви, дюбытѣ и утратѣ
Мои права — въ моемъ булатѣ.

Кто не читывалъ рыцарскихъ романовъ, кто не знаетъ обычая избирать для раздачи наградъ на турнирахъ красавицу — которой давали титло царицы любви и красоты? Развѣ въ чемъ другомъ, а въ тщеславіи Лифляндскіе рыцари не уступали никакимъ въ свѣтѣ — и всегда — худо ли, хорошоль — передразнивали этикетъ Германскій. Турниру безъ царицы быть не можно — аксіома; — вотъ и сошлись избранные судьи турнира въ риттергаузъ. Поставили, какъ водится, на столъ чернильницу и бутылки, перебрали всѣ писанныя и устныя *преданія о* способѣ избранія — по-

отъ круженія козьей ноги* у нихъ закружились головы и отнялись ноги, они согласились (къ чести ихъ вкуса или вина, право, не знаю) избрать Минну фонъ Буртнекъ царицею.

Минна, слышала зовъ отца своего, оправила волосы и поднявъ фрезъ, чтобы скрыть въ немъ пыланіе щекъ своихъ, вышла въ залу.

За нею послѣдовалъ Эдвинъ.

— Благодари господъ совѣта за честь, милая Минна. Ты избрана на завтра царицею, сказалъ баронъ, потирая отъ удовольствія руки... Благодари; я за себя и за тебя далъ слово. . . .

Одинъ изъ герольдовъ въ вышитомъ гербами далматикѣ преклонилъ колѣно и подалъ ей на бархатной подушкѣ золотую изъ трефовъ коронку, и смущенная нечаянностію Минна взяла ее, лепеча что-то въ отвѣтъ на пышно-безтолковое привѣтствіе герольдовъ.

— Я не поздравляю васъ — тихо сказалъ Эдвинъ, положа руку на сердце — вы и безъ короны владѣли сердцами.

---

* Кубки въ видѣ ноги дикой козы были въ большой модѣ у Ревельскихъ рыцарей — въ честь Ревеля, *котораго имя* производятъ они отъ слова Ree-fall паденіе серны.

Минна покраснѣла и молчала.

Герольды встрѣтились въ дверяхъ съ рыцаремъ Доппербацемъ, однимъ изъ самыхъ страшныхъ бойцевъ и самыхъ ревностныхъ искателей Минны.

— Поздравляю барона и цѣлую ручку у царицы моей, сказалъ онъ, неловко кланяясь и звеня за каждымъ словомъ шпорами, будто напоминая тѣмъ (и только тѣмъ), что онъ рыцарь . . . Соколомъ моимъ, фр. Минна, клянусь, что завтра за каждую искру вашихъ глазокъ такъ полетятъ искры отъ латъ, что небу станетъ жарко. — Вы увидите, какъ я передъ вами отличусь — конь у меня загляденье: пляшетъ по ниткѣ и курцгалономъ на талерѣ вольты дѣлаетъ. Сдѣлайте милость, фр. Минна, позвольте мнѣ надѣть лиловый шарфъ — у меня ужъ и чапракъ лиловый заказанъ.

— Много чести . . . благодарю васъ за вниманіе . . . но я такъ часто мѣняю цвѣта свои — что вы безошибочно можете ополоскаться радугою.

— И быть полосатымъ шутомъ, тихо примолвилъ докторъ.

— Знатная мысль! — воскликнулъ Доппербацъ, хлопая въ ладоши: вотъ, что называется, соглашаться, не сказавъ да. За то

) полосу я сдѣлаю шире остальныхъ

лости прошу присѣсть господа, говорилъ
ъ Доннербацу и Эдвину, котораго онъ
по сердцу и по золоту. Васъ, ры-
егодняшній вечеръ жалую министрохъ
ливаго величества — моей дочери; рас-
е ей должность царскую — а ты,
Эдвинъ, постарайся, чтобы царица не
пасъ, простыхъ людей. Мнѣ надо по-
ъ о дѣлѣ.

дежь усѣлась въ одномъ углу близъ
и безъ рѣчей, а докторъ и Буртнекъ
гомъ, присѣли къ столику.

обро пожаловать, старая кукушка, сказалъ
входящему Фрейлиху, разсыльщику
стера: добро пожаловать, если твое
не предвѣщаетъ худа!

батюшка, ваша высокобаронская ми-
что вздумали, отвѣчалъ коротенькій
ьщикъ, закладывая перчатки за украшен-
ляхою поясъ и бичъ за раструбъ сапо-
вѣдь, какъ деревянная кукушка, что
асами въ ратушѣ, такъ же часто и такъ
оно вѣщую на прибыль, какъ и на

го же новаго, Фрейлихъ?

ему быть новому на этомъ старомъ

свѣтѣ, г. баронъ? продолжалъ словоохотный Нѣмецъ, развязывая сумку: у меня даже для завращняго праздника и новой шапки нѣтъ, даромъ, что старую износилъ я, усердно кланяясь господамъ рыцарямъ.

— Не только намъ, ты и всѣмъ стѣнамъ хмѣльной кланяешься. Однако вотъ тебѣ два крейцера въ обмѣнъ за труды.

— Благодарю покорно, благородный рыцарь. За каждый крестикъ на этихъ монетахъ я положу по десяти за вашу душу.

— Не лучше ли выпить за мое здоровье? сказалъ, усмѣхаясь, баронъ принимая бумаги. Конечно повѣстки отъ гермейстера?

— Приказы, благородный рыцарь.

— Приказы?... да что онъ смѣетъ мнѣ приказывать?...

— Гдѣ намъ это знать, г. баронъ — стать ли намъ соваться не въ свое дѣло! На печати стоитъ часовой; да впрочемъ, если бъ письмо было прозрачнѣе киршвассеру — я, безграмотный, и тогда бы узналъ не больше теперешняго.

Правда, правда, ворчалъ про себя Буртнекъ: ты столько же можешь судить о содержаньи писемъ, какъ моя лягавая собака о вкусѣ перепелки, которую приноситъ. Ступай себѣ, Фрейлихъ.

(Читаетъ).

«Ба — ба — барону . . . Бур Бур . . . — провалъ возьми неучтивость сочинителя и почеркъ писца; это такъ связано, какъ Венгерская цыфровка; по крайней мѣрѣ титулъ-то мой могъ бы онъ написать большими ломаными буквами*!

— О! коне[illegible] слушая его, рыцарь Доннер[illegible]

— Безъ со[illegible]ила изъ другаго угла тетушк[illegible]а иглѣ петли полосатаго чул[illegible]вязала.

— Это ещ[illegible]лавилъ съ усмѣшкою докторъ [illegible]писано ломанымъ языкомъ.

— У тебя онъ очень гибокъ на споры, позразилъ Буртнекъ, посмотримъ-ка его рысь на дѣлѣ . . . прочти, пожалуй . . . у меня глаза слабы, не могу разобрать: буквы мелки, какъ маковыя зернышки, и меня не даромъ беретъ дремота съ одной строчки.

— Дай Богъ, чтобы вы могли спокойно заснуть отъ нихъ, сказалъ докторъ, пробѣгая бумагу глазами. Отъ гермейстера Ливонскаго ордена Рейхарда фонъ Бруггенея пре . . . при . . .

---

* Fractur-Buchstaben.

— Возьми очки, сказалъ баронъ.

— Возьмите терпѣнье, возразилъ докторъ... Ваши титулы такъ темны и долги, какъ сентябрьская ночь.

— Далѣе, далѣе?

— Не далѣе, а назадъ, баронъ! мы, словно пилигримы по обѣщанію, ступаемъ три шага впередъ, а два обратно. И такъ: «гермейстеръ Бруггенеи, благородному рыцарю Ливонскаго Ордена рыцарей креста, барону Эммануилу Христофору Конраду... фонъ Буртиеку, урожденному...»

— Ты рехнулся, докторъ...

— Виноватъ, зачитался. Я ужъ такъ привыкъ писать рецепты спѣсивымъ вашимъ барынямъ, что у меня безпрестанно звенятъ въ ухѣ ихъ титулы. Повѣрите ли, что фрейгерша Книпсъ-Кнопсъ *при смерти* не хотѣла принять лекарства за то, что я не выставилъ на рецептѣ: для урожденной *такой-то*...

— Какая мнѣ надобность до ея рожденья и смерти, и твоей смертной охоты приплетать свои сказки къ чужому дѣлу! Ни дать, ни взять, ты словно мой конюхъ Дитрихъ, который любилъ бывало вплетать ленточки въ гриву моей лошади, когда уже трубятъ сборъ...

— Вы взобрались на своего конька, баронъ,

ь пѣшій коппому не товарищъ. Впро-
мы близки къ концу. Приказъ кажет-
ипъ въ придачу титуламъ: онъ и весь въ
ехъ словахъ: «исправьте вашъ мостъ че-
болото Вайде, что на большой дорогѣ
рпть.»
Пустъ онъ самъ его перемащиваетъ своимъ
миномъ — а мнѣ, право не для чего;
сторону я никогда въ гости не ѣзжу.
Не ѣздите такъ и не зачѣмъ. Жаль
) бѣдныхъ путешественниковъ по нуждѣ,
не журавли — не перелетятъ черезъ
).
Это уже ихъ дѣло, а не мое.
Но вѣдь большая дорога вещь мірская;
ь она идетъ черезъ ваше владѣніе . . .
По этому я имѣю право дѣлать въ немъ
нѣ угодно, а тѣмъ болѣе ничего не дѣ-

Это значитъ, что, гдѣ многіе дѣлаютъ
то хотятъ, тамъ всѣ терпятъ то, чего не
».
Другую, другую, докторъ . . .
Развѣ третью, сказалъ Лонціусъ, пали-
опу.
Я говорю про бумагу, съ досадой произ-
Буртнекъ.
А я думалъ про стопу, отвѣчалъ Лон-

щiусъ съ притворнымъ простосердечiемъ, списывая со свѣчи.

(Читаетъ)!

«Гермейстеръ ... и тому подобное ... По жалобѣ рыцаря барона фонъ Буртнека на фрейгера Унгерна о землѣ, прилежащей къ замку Альтгофену и смежной съ сосѣдственными угодiями сказаннаго Унгерна, якобы захваченной имъ у перваго безправно и беззаконно, наѣздомъ и вооруженною рукою, и насильемъ, и грабежемъ, съ угрозами повторенiя оныхъ впредь, *я* съ фогтами и командорами Ордена, разсмотрѣвъ сiе дѣло, *нашли...*»

— Ошибка противъ грамматики! вскричалъ докторъ, останавливаясь.

— Скажи лучше, противъ правды, возразилъ Буртнекъ ... Гермейстеръ только праздничаетъ съ фогтами, а судитъ и рядитъ своей головой...

«Разсмотрѣвъ, *нашелъ* по справкамъ и показанiямъ свидѣтелей, что сказанная земля (опись на оборотѣ) была прежде захвачена у отца фрейгера Унгерна въ разныя времена и различными неправдами; а потому объявляемъ всѣмъ и каждому, что фрейгеръ Унгернъ былъ въ правѣ употребить для возвращенiя собственности силу, не видя удовлетворенiя на полюбовныя сдѣлки и многократныя свои тре-

бованія, что мы признаемъ его законнымъ владѣльцемъ сказаннаго участка; а рыцарю барону фонъ Буртнеку приказываемъ немедленно и безпрекословно уступить Унгерну Милькенталь со всѣми выгонами, прогонами, загонами, луговыми и лѣсными дачами, пивами и покосами, стоячими и живыми водами, со всѣми угодьями и привольями безъ изъятія, и положить новую границу отъ ручья Куремсе, до озерка Нигуса, до заводи, гдѣ коней купаютъ, оттуда на лѣво мимо красной сосны, что молніей обожжена, до Юмаловой пожни, а оттуда на перестрѣлъ къ новой Нойгиной банѣ, а оттуда . . .»

— Оттуда пусть онъ убирается къ чорту! вскричалъ баронъ, вскочивъ со стула . . . и гнѣвъ его, поджигаемый каждымъ словомъ, наконецъ лопнулъ, какъ фейерверочный бракъ, и бранныя шутихи полетѣли во всѣ стороны . . .

— Вотъ правосудіе! вотъ законы!... когда я былъ силенъ и удалъ, когда мои шпоры звенѣли громче другихъ на пирушкахъ, и палашъ мой рѣже цѣловался съ ножнами — тогда ни одна параграфская душа не смѣла показать ко мнѣ носа и всѣ эти толстые фогты фонъ *такъ*, кланялись черезъ улицу. Бывало, хоть на Епископской полосѣ воткну свое копье вмѣсто

— а теперь, смотри пожалуй! Эти ходячія чернильницы, эти черепокожные писаря вздумали притиснуть границу къ самому рву замка — такъ, что Унгернъ, того гляди, будетъ съ меня требовать платы за тѣнь башенъ, которая ляжетъ на его землю, за каждый стаканъ воды изъ ручья — и какой воды!

— Безъ воды обойтися можно . . . возразилъ докторъ, возвышая голосъ, чтобы заставить барона дослушать опредѣленіе . . . Въ слѣдствіе чего нарядится вскорѣ чиновникъ для введенія помянутаго фрейгера Унгерна во владѣніе . . .

— Пусть только явится ко мнѣ . . . Пусть только пріѣдетъ . . . я его подъ бичами заставлю вертѣться кубаремъ . . . я его попрошу отвѣдать спорной воды въ озерѣ! . . .

«И тогда, по обычаю, собравъ изъ сосѣднихъ деревень обоихъ противниковъ здоровыхъ мальчиковъ, высѣчь ихъ на каждомъ замѣтномъ мѣстѣ новой разграничкн, чтобы они ее памятовали, и въ могущихъ случиться впредь спорахъ могли служить очевидными свидѣтелями . . .»

— Этому не бывать . . . шпорами клянусь, не бывать! . . . всякой знаетъ, что я для праваго дѣла не пожалѣлъ бы вассаловъ своихъ... но въ

звѣ я злодѣй, чтобы согласил-
ъ спины памятною книжкою
ь судей? . . .
жетъ на это гермейстеръ?
я не послушаюсь . . . Что мнѣ
благосклонностью? его флюгер-
? Я хочу лучше имѣть передъ
открытыхъ враговъ, чѣмъ за спи-
акого пріятеля! Унгерну же не
ванной земли, какъ вчерашняго
а то пошло, не поживится онъ
— даже для цвѣточнаго горшка.
олдаты, — а у меня для встрѣчи
ости найдется живой частоколъ съ
маковками и не одна пара силь-
указать ему дорогу во-свояси.
кликалъ раздраженный баронъ, то-
— и громче и громче раздавался го-
до того, что стаканы и кубки, стоя-
тарпиномъ шкапу, зазвенѣли другъ
.
у тетушку ураганъ сей засталъ на
зѣнка — и превратилъ его въ знакъ
я. Рыцарь Доннербацъ, который для
ента пилъ за здоровье Минны, не до-
бка до губъ, и кубокъ, склонясь на
на полъ дра-

·гоцѣнную влагу. Только Эдвинъ и Мин
встали, движимые участіемъ.

Добрый Лонціусъ, сбросивъ съ лица шу
ливое выраженіе, безпокойно слушалъ барон
и слѣдилъ взорами его движенія.

— Да, да, продолжалъ Буртнекъ, я докажу
Унгерну и гермейстеру... что Буртнекъ пр
жилъ и умретъ не безъ друзей.

— Честію клянусь, вскричалъ Эдвинъ от
души. Вы ихъ имѣете, Буртнекъ!... Мо
золото — ваше.

— Располагайте, сказалъ потатываясь Дон
нербацъ — мною каждый день до обѣда,
удальцами моими всегда.

— Благодарю... сердечно благодарю..
отвѣчалъ умиленный баронъ, подавая имъ р
ки... Но утро мудренѣе вечера, и мы за
втра потолкуемъ объ дѣлѣ... Боже мой!..
Завтра турниръ, Унгернъ навѣрно и по прея
нему сорветъ награду, и моя дочь должн
будетъ увѣнчать моего злодѣя!... Проклято
слово... отказаться нельзя, а вытерпѣт
этого я не могу... Я не переживу пасмѣ
шекъ грабителя надъ этими сѣдыми волоса
ми — и гдѣ же? Передъ цѣлымъ Ревелемъ
передъ всѣмъ дворянствомъ и рыцарствомъ
Друзья!... другъ Доннербацъ! ты одинъ
можешь спасти старика отъ позора; ты силен

ты; грудь его волновалась, правая рука будто стискивала рукоять меча, и вдругъ, какъ левъ, онъ гордо встряхнулъ кудрями . . . и скрылся.

— Куда, куда, любезный Эдвинъ? кричалъ въ слѣдъ ему Буртнекъ; но отвѣта не было. Чудакъ!... а славный малой, примолвилъ онъ; скажи слово — и Эдвинъ отдастъ все безъ росту и закладу.

— Молодецъ, потворилъ Доппербацъ; даромъ что не рыцарь, а его не проведешь на зубахъ конскихъ.

— Премудрица... прибавилъ докторъ; хоть и споритъ со мной о жизненной эссенціи, за то одной вѣры, что міръ родился изъ яйца...

— Прекрасный юноша, безцѣнный человѣкъ! думала полумертвая Минна . . . но она не сказала этого въ слухъ.

— Куда? спросилъ тотъ съ изумленіемъ.

— Кто смѣетъ спрашивать, куда? Я ѣду—и этого довольно; вѣтеръ хорошъ, кораблей много: готовься.

Жарка первая любовь юноши; за то какъ горька первая потеря!

Долго сидѣлъ Эдвинъ, облокотясь на столъ и закрывъ обѣими руками горящее лицо. Въ его груди бурепали страсти — и наконецъ онѣ излились въ безпорядочномъ письмѣ, вотъ оно:

«Для меня все рѣшилось. Пишу къ вамъ отъ того, что говорить съ вами завтра я бы не могъ, а писать послѣ турнира мнѣ не должно — тогда ужъ рука ваша принадлежать будетъ другому; другой . . . Безумецъ я, безумецъ, изъ какой надежды, по какому праву смѣлъ ты возвысить свои взоры на лучшій цвѣтъ Линоніи! . . . или ты думалъ, что пылкое, вѣрное сердце стоитъ рыцарскаго герба? Ты думалъ . . . Нѣтъ, я ничего не думалъ, я могъ только чувствовать, только любить. Минутный сонъ счастія! Я дорого плачу за тебя на яву . . . Вы знаете ли, прелестная Минна, что такое ядъ ревности, испытали ли вы муки безнадежной, отчаянной любви? Молю Бога, чтобы вы никогда ея не чувствовали! . . . Отчаяніе давно ли посѣти-

ло меня — и кажется, всѣ часы, всѣ дни, потерянные въ разсѣянности, промелькнувшіе въ восторгѣ — склубились теперь въ минуты, въ безконечныя минуты!! . . . За каждымъ біеніемъ сердца, для васъ только бьющагося, тысячи досадныхъ мыслей одна по другой, одна другой чернѣе, успѣваютъ уже терзать мою душу, и каждая капля крови медленно вливаетъ отраву въ мои жилы. Чувствую, что я пишу вздоръ . . . простите моему безумію и дерзости, что я пишу къ вамъ, добрая, милая Минна; или нѣтъ, прошу васъ, умоляю васъ, разсердитесь на меня, излейте на виновнаго справедливый гнѣвъ свой: тогда мнѣ легче будетъ оставить васъ, разлучиться съ обожаемою Минною, бѣжать той родины, гдѣ мнѣ запрещено заслужить мечемъ любезную, которой взаимность заслужилъ я сердцемъ. Будьте гнѣвны и неумолимы — иначе кроткій взоръ небесныхъ очей вашихъ обратитъ въ дымъ мою рѣшимость, еще одинъ взоръ, какъ сегодня . . . и я причарованъ — и что тогда? Мое мщеніе можетъ быть столь же чрезмѣрно, какъ безмѣрна моя страсть. Спасите меня своимъ негодованіемъ, несравненная! Я только дождусь турнира, лишь узнаю счастливца, которому выпадетъ мое счастіе, и въ ту же минуту корабль умчитъ меня, куда повѣетъ

ты; грудь его волновалась, правая рука будто стискивала рукоять меча, и вдругъ, какъ левъ, онъ гордо встряхнулъ кудрями . . . и скрылся.

— Куда, куда, любезный Эдвинъ? кричалъ въ слѣдъ ему Буртекъ; но отвѣта не было. Чудакъ!... а славный малой, примолвилъ онъ; скажи слово — и Эдвинъ отдастъ все безъ росту и закладу.

— Молодецъ, потворилъ Доппербацъ; дарожъ что не рыцарь, а его не проведешь на зубахъ конскихъ.

— Премудрица... прибавилъ докторъ; хоть и спорить со мной о жизненной эссенціи, за то одной вѣры, что міръ родился изъ яйца...

— Прекрасный юноша, безцѣнный человѣкъ! думала полумертвая Минна . . . но она не сказала этого въ слухъ.

IV.

«I write in haste, and if a stain
Be on this sheet 'tis not what it ap
My eyeballs burn and throb, but ha
tear

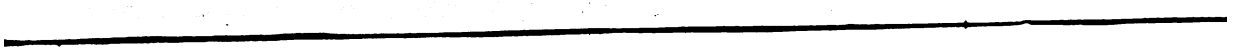
Byron.

Какъ бѣшеный вбѣжалъ Эдвинъ домой. Плащъ слетѣлъ на полъ. Двери спал отъ удара ноги разлетѣлись въ дребезги - онъ съ сердцемъ вырвалъ свѣчу изъ р стараго служителя . . .

— Кончено . . . рѣшено . . . говорилъ скрежеща зубами; турниръ и Минна — ля люди! . . . Поклонники предразсудковъ! О, для чего не могу я стать съ копьемъ порога и вызвать на бой каждаго дерзк кто захочетъ ея руки! Гержанъ! я ѣду, ве чалъ онъ слугѣ своему.

Съ зарею, Лангъ и Брейт-штрассе: двѣ дороги, ведущія къ Домъ-плацу въ Вышгородѣ, заперлись толпами народа. Эстонцы и Нѣмецкіе рукодѣльники, слуги и мѣщане спѣшили занять мѣсто, чтобы посмотрѣть на турниръ рыцарскій; однако жъ немногіе добились этой чести. Небольшая площадь едва давала просторъ поединщикамъ, а вкругъ домовъ сдѣланы были мѣста для людей почетныхъ. Всѣ окна были отворены, уложены подушками, увѣшаны коврами. Ленты и разноцвѣтныя ткани вѣяли отовсюду; пестрота домовъ, нарядовъ и украшеній представляла глазамъ странное, но пріятное зрѣлище. Наконецъ, за часъ до полудня, трубы зазвучали по городу и въ одну минуту окна закипѣли зрительницами, амфитеатръ наполнился лучшими купцами и старыми рыцарями.

Подъ балдахиномъ сидѣлъ гермейстеръ, въ бѣлой бархатной мантіи, съ чернымъ на лѣвомъ плечѣ крестомъ, въ полукафтаньѣ съ разрѣзами, унизанными застежками, въ сапогахъ, на которые спущались отъ колѣнъ кружевные напуски. Золотомъ шитый воротникъ рубашки городками лежалъ на желѣзномъ оплечьѣ, которые носили тогда рыцари, чтобы и въ домашнемъ платьѣ видно было ихъ званіе. Подбой платья, раструбовъ сапоговъ и перчатокъ,



[illegible] запарялась злословіемъ и, какъ водится въ подобныхъ обстоятельствахъ, колкимъ, но рѣдко остроумнымъ.

— Мнѣ жаль бѣдной Минны, сказалъ докторъ, которому все казалось въ забавномъ видѣ. Гермейстеръ вашъ, который такъ величается гербами своими, право, очень похожими на булочную вывѣску, боится потерять свою симметрическую посадку; а сіи не съ кѣмъ пересудить сосѣдокъ: замѣтить, что у той-то худо накрахмаленъ воротникъ, что у того-то растрепаны перья или черезъ-чуръ нафабрены усы. Какое противорѣчіе — гермейстеръ и Минна!

— Тутъ не противорѣчіе, а доказательство, что радость и скука — самые близкіе сосѣди! — отвѣчалъ Одинецъ. Но, докторъ, вы просили меня показать вамъ кое-кого изъ женщинъ и мужчинъ Ревельскихъ — слѣдуйте же своими взглядами за моими. Вотъ эта разряженная дама, напримѣръ, очень похожая на корабельную статуйку — жена ратсгера Клауса; она, говорятъ, въ самомъ дѣлѣ ворочаетъ рулемъ нашей думы и не разъ сажала нашъ курсъ на мель. Подлѣ нея примѣрная чета: бургомистръ Фетеманъ съ дражайшей своей половиной: они горятъ одною страстью — къ

стеклу, т. е. онъ къ стакану, а она къ зерка-
лу. — Эта карманная дамочка, которая, гово-
ря безъ умолку, вѣшается на шею толстому
своему мужу, будто колокольчикъ на шею к
волу — дворянка Зегефельсъ. Онъ, сказыва-
ютъ, взялъ маленькую жену для того, чтобы
она не достала водить его за носъ; за то те-
перь ушамъ больно достается. Кстати объ
ушахъ . . [illegible] къ, кажется, прячетъ
ихъ длину [illegible] езъ — это ландратъ
Эзелькран[illegible] сидитъ пѣвица фрей-
лейнъ Л[illegible] атоки говорятъ, что
голосъ ея [illegible] соловьинаго съ со-
винымъ; а [illegible] ѣдка ея, у которой
лице и пла[illegible] адугою — баронесса
Герцфишъ. Ей [illegible] пора съ нашего не-
ба. Далѣе видна любовница командора Цан-
гейма . . . не дивитесь, что она сидитъ выше
его жены: это у насъ не рѣдкость. Тамъ двѣ
сестры . . .

— Полно, полно, Эдвинъ, о женщинахъ.
Я знаю, что о скромныхъ сказать нечего, о
хорошенькихъ не для чего говорить, а прочія
мнѣ наскучили. Теперь очередь до господъ.
Кому, напримѣръ, принадлежитъ эта головка,
лежащая на огромномъ Испанскомъ фрезѣ,
какъ на блюдѣ яблоко?

— Всѣмъ, кому угодно, докторъ! . . . онъ

отдаетъ ее на подержаніе за сходную цѣну. Это промотавшійся дворянинъ Люфтъ; — онъ сочиняетъ надгробныя надписи и свадебныя пѣсни — проекты рыцарямъ для впаденія въ землю непріятелей и для свиданія съ женами пріятелей; смотритъ въ зубы лошадямъ, сводитъ купцовъ и лечитъ охотничьихъ собакъ . . . Это самая свѣтлая голова изо всего Ревеля.

— Не даромъ же вокругъ нея коленкоровое сіяніе; но кто этотъ въ пухъ разубранный рыцарь . . . съ соколомъ на рукѣ, обвѣшанный лентами и пуговицами, какъ свадебный конь?

— Это мученикъ и образецъ щегольства . . . Фогтъ фонъ Тулейнъ . . . Въ гардеробѣ своемъ онъ, кажется, не совѣтовался съ указомъ Плеттенберга*: шейная цѣпочка его вѣситъ ровно въ 30 фунтовъ, и посмотри, въ какіе перстни закованы его пальцы! — Онъ имѣетъ *вѣсъ* между рыцарями.

— Ну, а тотъ съ бекасиною фигурою, низенькій?

— И низкій человѣкъ? Это продажная ду-

---

* Гер. Плеттенбергъ въ 1503 году издалъ, для удержанія роскоши, указъ, въ коемъ предписалъ простоту въ платьѣ и уборахъ всѣхъ сословій; но это осталось

звѣрями и травами, что свели бы съ ума всѣхъ натуралистовъ міра. Но все это блистаніе латъ, пестрота перьевъ и шарфовъ, шитыхъ чапраковъ и попонъ, ржаніе копей, бренчаніе збруи и плески и разнообразіе кругомъ, все изумляло страшностію; было дико — но плѣнительно. И вотъ герольды прочли уставы турнира, и рыцари выскакали вонъ, оставя мѣсто для бою. — Снова звучитъ труба — и уже копья ломаются на груди противниковъ и выбитые рыцари ползаютъ въ пыли отъ тяжести латъ болѣе, чѣмъ отъ силы ударовъ. Часто своевольные кони разносятъ ихъ, и копья поражаютъ воздухъ; — часто, стукнувшись лбами — они путаются въ збруѣ другаго, и какъ пѣтухи ловятъ промахъ врага. Вотъ ужъ Рижскій рыцарь Гротенгельмъ дважды остался побѣдителемъ и взялъ въ призъ золотой шарфъ изъ рукъ царицы красоты. Трубы прогремѣли ему тушъ, — народъ привѣтствовалъ кликами. Тогда только выѣхалъ гордый Унгернъ, который будто презиралъ легкія побѣды и ждалъ, чтобы другой увѣнчался ими для украшенія его тріумфа. Они слетѣлись, сшиблись, и Гротенгельмъ покатился черезъ голову съ конемъ своимъ. Забавнѣе всего былъ ударъ копья Унгернова: онъ повернулъ шлемъ Гротенгельма налѣво кругомъ, и тотъ, вскочивъ на ноги,

долго не могъ изъ него высвободиться, задыхаясь и ничего не видя. Смѣхъ и рукоплескапія полетѣли со всѣхъ сторонъ. Унгернъ остался, ожидая противниковъ.

Бросивъ повода и опершись на копье, величаво стоялъ онъ среди площади.

Трубы гремѣли, герольды вызывали охотниковъ, но сила рыцаря ужасала — никто не являлся.

Всѣ дамы, всѣ зрители восклицали: отдать Унгерну награду — отдать лучшую храбрѣйшему?

— Отворите! закричалъ неизвѣстный рыцарь, приближаясь — и въ то же мгновеніе, не дожидаясь, покуда отворятъ рѣшетку — онъ сжалъ въ шпорахъ коня и стрѣлой перелетѣлъ черезъ нее.

Хвостъ разомъ осаженнаго коня легъ на землю, но рыцарь не шевельнулся въ сѣдлѣ — только перья со шлема раскатились по плечамъ и снова всприпули отъ удара. Минуту стоялъ онъ, какъ вкопанный, слегка поигрывая поводами, какъ будто желая осмотрѣться и дать разглядѣть себя, и потомъ тихо, мапежнымъ шагомъ поѣхалъ кругомъ ристалища, привѣтствуя собраніе склоненіемъ головы. Наличникъ его былъ опущенъ, щитъ безъ герба, латы вороненые съ золотою насѣчкою. Ог-

пенный цвѣтомъ и ходомъ конь его храпѣлъ и фыркалъ и весь былъ на вѣтрѣ, какъ будто ступалъ по облаку пыли, взвѣваемой его ногами.

— Какой статный мужчина! сказала, прищуриваясь, фрейлейнъ Люиза фонъ-Клокенъ брату своему, когда неизвѣстный проѣзжалъ мимо.

— Какой жеребецъ! воскликнулъ ея братъ: во всѣхъ статяхъ — даже и хвостъ трубою. Это картина — не конь. Крестецъ, хоть спи на немъ, ноги тоньше, нежели у Италіянца Бренчелли . . . и пусть меня разстрѣляютъ горохомъ, если онъ танцуетъ не лучше фогта Тулейна . . . только что не говоритъ.

— Эту привиллегію имѣютъ только ослы, съ досадою подхватилъ Тулейнъ, который по случаю сидѣлъ сзади.

— Это я вижу теперь, смѣючись отвѣчалъ фонъ-Клокенъ. Но кто этотъ неизвѣстный удалецъ?

— Это Доннербацъ! отвѣчали многіе голоса.

— Неужели онъ такъ скоро успѣлъ просушить свою голову? Я оставилъ его за шестою бутылкою венгерскаго на завтракъ у ратсгера Лида.

Между тѣмъ рыцарь подъѣхалъ къ гермейстеру, склонилъ копье, низко, низко покло-

нился Мишѣ и вдругъ поднялъ на дыбы коня своего, метнулъ его вправо и во весь опоръ поскакалъ къ Унгерну. Всѣ ахнули, боясь удара, но онъ съ разу и такъ близко осадилъ коня, что мундштукъ звукнулъ о мундштукъ...

— Что это значитъ? съ досадою произнесъ Унгернъ, изумленный такою дерзостью.

— Если рыцарь хочетъ взять у меня урокъ въ геральдикѣ, насмѣшливо отвѣчалъ неизвѣстный: то брошенная перчатка значитъ вызовъ на бой!

— Рыцарь, я уже давно этою указкою выѣздилъ шпоры, и отъ ней не одинъ терялъ стремена!

— Унгернъ! мы съѣхались не хвалиться подвигами, а ихъ совершать. Я вызываю тебя на смертный поединокъ.

— Ха! ха! ха! Ты меня вызываешь на смертный бой . . . Нѣтъ, братъ, это ужъ черезъ-чуръ потѣшно!

— Чему ты смѣешься, гордецъ? я тебя не щекоталъ еще копьемъ своимъ; берегись, чтобы за твой смѣхъ по тебѣ не заплакали.

— Ахъ ты, безъименный хвастунъ! ты — стоишь быть стоптанъ подковами моего коня.

— Нагдецъ и пустословъ! — поднимай перчатку, или убирайся вонъ изъ турнира.

— Я выгоню тебя вонъ изъ свѣта, безумецъ!

вскричалъ раздраженный Унгеръ, вонзая копье въ перчатку противника — и также воткну на копье твою голову.

— Пощупай лучше, крѣпко ли своя привинчена. На жизнь и смерть, Унгеръ!

— Это твой приговоръ . . . поклонись въ послѣдній разъ петуху на Олаевской колокольнѣ — вы ужъ больше не свидитесь . . .

— А ты приготовь поздравительную рѣчь сатанѣ . . .

— Посмотримъ, какого цвѣта кровь, двигающая этотъ дерзкій языкъ!

— Поглядимъ, какая подкладка у этого надутаго сердца, говорили рыцари, разъѣзжаясь.

И вотъ герольды раздѣлили имъ пополамъ свѣтъ и вѣтеръ, сравняли копья и труба приложена къ устамъ для вѣсти битвы. Привставъ, склонясь впередъ, всѣ чуть дышатъ, чуть поводятъ глазами. Сердца дамъ бьются отъ страха, сердца мужчинъ отъ любопытства; взоры всѣхъ изощрены вниманіемъ. Унгеръ сбираетъ, горячитъ коня своего, чтобы сорвать съ мѣста мгновенно; садится въ сѣдло, крутитъ копьемъ. Незнакомецъ стоитъ недвижно, солнце не играетъ по латамъ, ни волосъ гривы его коня не шевелится . . .

Труба гремитъ.

Вихремъ понеслись противники другъ на

друга — разъ, два — и копьевъ какъ не было, но ударъ былъ столь силенъ, что незнакомецъ зашатался, упалъ на шею коня и перья шлема смѣшались съ султаномъ конскимъ и бѣгунъ понесъ его кругомъ ристалища. Громкіе плески огласили воздухъ, дамы замѣяли платками въ одобреніе Унгерна.

Таковы-то люди, таковы-то женщины — они всегда на сторонѣ побѣдителя.

— Славно, славно, землякъ! кричали ему Ревельцы; ты такъ крѣпко сидишь въ сѣдлѣ, будто вылитъ изъ одного куска съ лошадью.

— Едвали это неправда, промолвилъ Лонціусъ Буртнеку, который ни живъ, ни мертвъ ждалъ развязки боя.

— Теперь онъ знаетъ, каково рвать незабудки съ конья Унгернова! прибавилъ другой.

— Я чай, у него въ глазахъ сверкаютъ такія звѣзды, что и во снѣ не увидишь, сказалъ третій.

— Распечатай его наличникъ! кричали многіе.

Но рыцарь очнулся и насмѣшки возбудили въ немъ новыя силы. Такъ дымится и кипитъ вода отъ капли кислоты, — такъ вспыхиваетъ умирающее пламя отъ немногихъ зеренъ пороху.

Снова, съ новыми копьями устремились ры-

цари на встрѣчу; одинъ съ увѣренностью въ побѣдѣ, другой съ злобою мщенія . . . сразились — и Унгернъ палъ.

Разгорячень, спрыгнулъ съ коня незнакомецъ и наступивъ ногой на грудь полумертваго Унгерна, простертаго въ пыли, поднялъ его оплечье остріемъ меча, направилъ мечъ въ грудь и оперся на него.

— Ну, Унгернъ, кто побѣдитель?

— Судьба! отвѣчалъ тотъ едва внятно.

— И смерть — если ты не сознаешься; кто побѣдилъ тебя?

— Ты, ты! отвѣчалъ Унгернъ, скрежеща зубами.

— Этого мало. Ты отнялъ неправдою землю у Буртнека. Откажись отъ ней — или черезъ минуту тебѣ довольно будетъ и той земли, которую теперь закрываешь тѣломъ. Да или нѣтъ? . . .

— Я на все согласенъ! . . .

— Слышите ли, герольды и рыцари! Я лишь на этомъ условіи дарю ему жизнь.

Подобно электрическому удару восторгъ обуялъ зрителей, доселѣ безмолвныхъ, то отъ страха за Унгерна, то изъ участія къ незнакомцу.

— Слава великодушному, награда и честь

побѣдителю! раздалося въ грохѣ рукоплесканій: ему, ему награду! восклицали всѣ.

— Неизвѣстный рыцарь выигралъ золотой кубокъ! рѣшили судьи турнира и герольды провозгласили то.

Величаво кланяясь на всѣ стороны, приблизился рыцарь къ возвышенію, гдѣ сидѣлъ гермейстеръ съ царицею красоты; поклонился имъ и въ безмолвіи оперся на мечъ.

— Благородный рыцарь, сказалъ гермейстеръ Бругенеи, стоя; ты оказалъ свою силу, свое искусство и великодушіе — покажи намъ побѣдное лице свое, для принятія награды!

— Уважаемый гермейстеръ! важныя причины запрещаютъ мнѣ удовлетворить ваше любопытство.

— Таковы уставы турнира.

— Въ такомъ случаѣ я отказываюсь отъ правъ своихъ и сердечно благодарю судей за честь, которою не могу воспользоваться.

Сказавъ это, неизвѣстный съ поклономъ отворотился отъ гермейстера . . .

— Храбрый паладинъ! сказала тогда трепещущая судьбы своей Минна, наполняя кубокъ виномъ Венгерскимъ . . . Неужели откажетесь вы отвѣтствовать на мой привѣтъ за здоровье побѣдителя? . . . Какъ царица праздника, я требую повиновенія; какъ дама, прошу васъ...

Она отпила и подносла кубокъ къ незнакомцу.

— Нѣтъ, нѣтъ! говорилъ тотъ, отводя рукою бокалъ; видно было, что страсти сражались въ немъ — онъ колебался.

— Минна! воскликнулъ онъ наконецъ, хватая кубокъ: да будетъ! . . . я выпилъ бы смерть изъ чаши, которой коснулись вы устами . . . Вожди и рыцари! За здравіе и счастье царицы красоты!

При громѣ трубъ, незнакомецъ поднялъ наличникъ . . .

VI.

[illegible] вѣковаго праха,
Т[illegible] съ знаменемъ креста,
Т[illegible] вѣдникомъ Рорбаха*,
Л[illegible] й красота.

И. Языковъ.

Происшествіе, [illegible] ведставляю теперь, было въ 1538 году, [illegible] лѣтъ 15-ть спустя послѣ введенія Лютеранской вѣры.

Орденъ крестоносцевъ Ливонскихъ недавно потерялъ тогда главу свою въ Прусскомъ Орденѣ, преданномъ Сигизмунду — и уже дряхлѣлъ въ грозномъ одиночествѣ. Долгій миръ съ Россіею ржавилъ мечъ, страшный для ней въ рукѣ Плеттенберга. Рыцари, вдавшись въ роскошь, только и знали, что пображать, да праздничать, и лишь рѣдкія стычки съ Новогородскими наѣздниками и Варягами Шведски-

* Рорбахъ былъ первымъ магистромъ Ордена Ливландскихъ Меченосцевъ (Schwerdt-Brüder).

ми, поддерживали въ нихъ духъ воинственный. Впрочемъ, если они не наслѣдовали мужества предковъ, за то гордость ихъ росла съ каждымъ годомъ выше и выше. Духъ того вѣка раздѣлилъ самые металлы на благородные и неблагородные; — мудрено ли же, что увѣряя другихъ, рыцари и сами, отъ чистой души, увѣрились, что они сдѣланы по крайней мѣрѣ изъ благородной фарфоровой глины. Надо примолвить, что дворянство, образовавшееся тогда изъ владѣльцевъ земель, много тому способствовало. Оно домогалось слиться съ рыцарствомъ, слѣдовательно возбуждало въ ономъ желаніе исключительно удержать за собою выгоды, которыя, Богъ знаетъ почему, называло правами, и нравственно унизить новыхъ соперниковъ. Между тѣмъ купцы, вообще классъ самый дѣятельный, честный и полезный изо всѣхъ обитателей Ливоніи, льстимые легкостію стать дворянами чрезъ покупку недвижимостей, или подстрекаемые затмить дворянъ пышностію, кидались въ роскошь. Дворяне, чтобы не уступить имъ и сравниться съ рыцарями, истощали недавно пріобрѣтенныя помѣстья. Рыцари, въ борьбѣ съ ними обоими, закладывали замки, разоряли въ конецъ своихъ вассаловъ . . . и гибельное слѣдствіе такого неестественнаго падѣнія со-

словій — было неизбѣжно и недалеко. Раздоръ царствовалъ повсюду: слабые подкапывали сильныхъ, а богатые ихъ завидовали. Военно-торговое общество Черноголовыхъ (Schwarzen-Häupter), какъ градское ополченіе Ревеля, пользовалось почти рыцарскими преимуществами, слѣдовательно было ненавидимо рыцарями. Часъ перелома близился: Ливонія походила на пустыню, — но города и замки ея блистали яркими красками изобилія, какъ осеній листъ передъ паденьемъ. Вездѣ гремѣли пиры; турниры сзывали всю молодежь, всѣхъ красавицъ во — едино, и Орденъ шумно отживалъ свою славу, богатство и самое бытіе.

На чемъ-бишь мы остановились?

VII.

Что будетъ, то будетъ, что будетъ, то будетъ; а будетъ то, что Богъ дастъ.

Богданъ Хмельницкій.

Медленно открылъ незнакомый рыцарь блѣдное лицо свое, и палъ безъ чувствъ къ ногамъ изумленной Минны, палъ отъ изнеможенія и перваго удара.

— Эдвинъ! воскликнула Минна.

— Купецъ! закричали дамы и рыцари — и ропотное волненіе разлилось по собранію.

— Такая наглость стоитъ наказанія... Эта обида заслуживаетъ месть! раздавалось отвсюду; и рыцари, дворяне, Шварценгейптеры хлынули на ристалище.

— Выбросьте вонъ, прибейте, убейте этого самозванца! кричали рыцари... онъ не нашъ.

— Онъ будетъ нашъ! возражали Шварцен-

йптеры, стѣснясь въ кружокъ около безчувственнаго Эдвина; мы не дадимъ тронуть его лоскомъ . . .

— Кто не дастъ, кто не позволитъ? Кто? по нашей ли милости впущены вы въ кругъ царей? шумѣли дворяне.

— Не изъ милости, а по праву.

— Кто далъ права, тотъ можетъ и взять ъ.

— Вы ихъ продали намъ, а не дарили. Мы ѣе же господа, какъ и вы, въ Ревелѣ, который не разъ уже выкупали своимъ золотомъ спасали своею кровью.

— Старыя пѣсни, старыя сказки! . . . храость ваша качается на вѣсовой стрѣлкѣ, — ѣесть, какъ обстриженный червонецъ, очень ыла въ цѣнѣ . . .

— Громъ и буря; мы напечатаемъ на лбахъ ихъ такія монеты, что вѣкъ не износите емпеля . . .

— Аршинники — разбойники! летѣло нарѣчу другъ другу — и обѣ стороны пыша- боемъ, когда Венденскій фогтъ-фонъ-Дель- ъ вскочилъ на перила и громовымъ голо- ъ говорилъ:

— Дворяне и рыцари! вотъ слѣдствіе нашей броты! Когда бы не позволили мы Шварнгейптерамъ и первымъ гражданамъ мѣшать-

ся съ нами, этотъ купчишка не стопталъ бы нашего собрата — и преимуществъ Ордена; не обидѣлъ бы въ лицѣ Унгерна насъ всѣхъ. Но пусть прошлое будетъ намъ урокомъ для переду. Да будетъ же отнынѣ и навсегда запрещено всѣмъ безъ изъятія, непосящимъ званія рыцаря или дворянина, въѣзжать за турнирную рѣшетку.

— Да будетъ, да будетъ, загремѣли дворяне и рыцари, и герольды подъ звукомъ трубъ возгласили, что никто, кромѣ дворянъ и рыцарей, не можетъ отнынѣ ломать съ ними копья въ турнирѣ.

— Такъ мы сломимъ ихъ въ битвѣ! зашумѣли обиженные такимъ исключеніемъ Шварценгейптеры, обнажая мечи.

— А! коли такъ — бейте Черноголовыхъ! закричали рыцари.

— Рубите пустоголовыхъ! воскликнули Шварценгейптеры, кидаясь къ нимъ на встрѣчу и вмигъ мечи запрыгали по латамъ и бой завязался.

Вопли женщинъ, клятвы противниковъ, громы оружія огласили воздухъ. Тѣснота умножила тревогу, конные и пѣшіе, латники и невооруженные, бойцы и миротворцы смѣшались, и всѣ орудія отъ рукъ до копей были въ дѣлѣ. Обиженное самолюбіе и неуклонная гор-

дость подстрекали сражающихся, вино и гнѣвъ ослѣпляли всѣхъ, ожесточеніе росло. Напрасно гермейстеръ просилъ, уговаривалъ, повелѣвалъ; напрасно крича и топая ногами, бросилъ свой жезлъ, даже шляпу и мантію на ристалище въ знакъ закрытія турнира — никто не слушалъ, никто не замѣчалъ его. Наконецъ усталость сдѣлала то, чего не могли совершить ни моленія женъ, ни приказы старшихъ. Обѣ стороны склонились на увѣщанія добраго бургомистра Фегезака, и противники разошлись грозя другъ другу мечами и взорами. Опустѣлое побоище усѣяно было перьями и шпорами, рыцарскими и дамскими украшеніями. Къ счастію тѣснота помѣшала дальнему убійству — ибо сраженіе превратилось въ борьбу: говорятъ, немногіе заплатили жизнію за эту игрушку.

Одинъ все еще лежалъ въ смертномъ обморокѣ отъ сильнаго ушиба и бури чувствъ. Подлѣ него на колѣняхъ стояла прелестная Минна, забывъ весь міръ для любезнаго и ничему не внимая, кромѣ чуть слышнаго біенія его пульса; Лонціусъ, ухаживая за Одиномъ, уговаривалъ бѣснующагося Буртнека, который всѣмъ тогда извѣстнымъ свѣтомъ клялся, что онъ не отдастъ Одину дочери, хотя

— По ваше слово, баронъ, ваше рыцарское слово!

— По мои предки, г. докторъ, мои предки! Лучше не сдержать слова, чтобы поддержать имя. Коротко сказать — Эдвинъ очень высоко задумалъ; я во вѣкъ не выдамъ Минны за человѣка безъ славнаго имени.

— За то съ доброю славою.

— За человѣка, у котораго родословная въ счетной книгѣ, у котораго нѣтъ герба.

— У него ихъ тысячи, баронъ, и всѣ на золотомъ полѣ.

— Хоть весь онъ разсыпься червонцами — я не соглашусь раздвоить* свой щитъ съ вывѣскою.

— Вспомните, баронъ, что Эдвинъ кровью выручилъ намъ отнятое Унгерномъ — неужели за великодушіе заплатите вы неблагодарностію?

— Добродѣтель — не титулъ . . .

— Мы производимъ его въ командоры Шварценгейнтеровъ! гордо возразили старшины сего сословія. Онъ заслужилъ это достоинство храбростію.

— Слышите ли? сказалъ докторъ . . . Это почти рыцарское достоинство!

---

* Ecarteler — геральдическое выраженіе.

— Батюшка, вскричала наконецъ Минна, будто вдохновенная: онъ оживаетъ — мой Эдвинъ оживетъ. Простите, продолжала она, обливая грудь отца горькими слезами: я люблю Эдвина, я не могу жить безъ него . . . Въ рукѣ моей вольны вы, но мое сердце на вѣчно принадлежитъ Эдвину.

Казалось, она истощила всѣ силы души и тѣла, чтобы выговорить слова сіи, — и сказавъ ихъ, какъ лилія поникла головою и безъ чувствъ опустилась на плечо отца.

Это тронуло Буртнека болѣе всѣхъ доводовъ. Въ гербѣ его не было сердца, но оно билось въ груди отеческой. Съ нѣжною заботливостію поддерживая дочь лѣвою рукою, онъ вѣялъ надъ ней перьями шляпы — хотѣлъ поцѣлуемъ призвать въ нее жизнь — и даже слеза блеснула на непривычной къ тому рѣсницѣ.

Между тѣмъ добрый Лонціусъ наступалъ на него сильнѣе и сильнѣе.

— Онъ богатъ, прекрасенъ, командоръ и храбръ — это присѣчетъ злые языки . . . Неужели вы хотите уморить дочь и лишить счастія друга, измѣнивъ слову? Притомъ же любовь дочери вашей извѣстна всему городу . . .

— Дай мнѣ подумать хоть день, хоть часъ...

что говоритъ вамъ сердце... И такъ Эдвинъ зять вашъ?

— Зять и сынъ... Эдвинъ и Минна, милыя дѣти мои, пробудитесь для новой жизни!

Свѣтелъ и радостенъ скакалъ съ турнира Эдвинъ подлѣ колесницы невѣсты своей, не сводя съ нея глазъ и поминутно цѣлуя ея руку.

Спускаясь съ Блоксберга, имъ встрѣтился Доппербацъ въ полномъ вооруженіи и съ копьемъ въ рукѣ . . .

— Куда ѣдешь, любезный Доппербацъ? спросилъ Буртнекъ.

— На турниръ, отвѣчалъ тотъ, протирая глаза . . .

— Ты проспалъ его... Поѣдемъ-ка лучше ко мнѣ на свадьбу, съ усмѣшкою сказалъ Эдвинъ.

— На твою свадьбу,—неужели съ фр. Минною? . . . не сонъ ли это?

— Дай Богъ вѣкъ не просыпаться отъ такого счастливаго сна!

Шумно промчался поѣздъ мимо — и Доппербацъ долго стоялъ на улицѣ съ отверстымъ ртомъ отъ удивленія.

РОМАНЪ ВЪ СѢМИ ПИСЬМАХЪ.

I had a dream which was not all a dr

Byron.

ПИСЬМО ПЕРВОЕ.

Ахъ, какъ она мила, Жоржъ, какъ он
ла! Я увѣренъ, что если бъ ты увидѣлъ
ропательницу Адель въ ея кабинетѣ, г
зимой раскинулись цвѣтники, гдѣ всякая
дѣлка льститъ глазу и заговариваетъ во
женію; когда бъ ты взглянулъ на нее, о,
въ легкое платье, окруженную благово
розовою атмосферою, вѣющею съ касс
ты бы назвалъ ее воздушною голубо
Пери, порхающею въ испареніи цвѣто
каждое ея слово — поэзія, каждый взор
леченъ въ мысль. Не шути, любезный
я боюсь, чтобы твое предсказаніе не сбы
то есть, чтобы мнѣ не влюбиться въ с

дѣлѣ: я впервые теперь начинаю чувствовать, что мундиръ мнѣ узокъ въ груди — а это плохая примѣта для сердечнаго здоровья. Впрочемъ я хоть и нерѣдко нижу ее во снѣ, но сплю такъ спокойно, что еще сегодня опоздалъ на проѣздку. А на прошедшемъ балѣ, когда мнѣ случилось сидѣть противъ Адели за ужиномъ, мой апетитъ былъ въ разительной противоположности со влюбленными моими взорами; и я не разъ притался за вазы съ цвѣтами, чтобы подъ пріютною ихъ тѣнью скрыть обломки пастета или остовъ рябчика. Я вижу, что ты улыбаешь, произносишь уже свой приговоръ, будто эта склонность принадлежитъ къ числу еженедѣльныхъ офицерскихъ страстей, которыя загораются отъ шарканья во Французскомъ кадрилѣ, и тухнутъ въ вихрѣ двухъ или трехъ котильоновъ. Признаться, и отъ одного эѳирнаго, случалось мнѣ не однажды разлюблять нѣкоторыхъ красавицъ, на взглядъ милыхъ, какъ радость: не удержите иную — и кажется, она улетитъ; взглянетъ — вы таете, отворитъ ли прелестный ротикъ свой — зажмите уши... Но такой примѣръ пейдетъ къ Адели, — съ нею, не скучая, можно провертѣться около земнаго шара, такъ она умна и любезна. Все это занимательно и прелестно, скажешь ты, но развѣ эта дѣвица

особенно благосклонна къ тебѣ, что ты посвятился въ ея рыцари? Развѣ? — Сдѣлай милость, не докучай такими вопросами; я и самъ не знаю, какъ это сдѣлалось, и никакъ не увѣренъ въ ея взаимности. Ты знаешь, до какой умертвительной холодности дошло здѣсь обращеніе, до какого утомительнаго единообразія доведенъ разговоръ; притомъ вездѣ тысячи глазъ, которые не близоруки только для критики, и столько же ушей, чтобы на полетѣ ловить полуслова, и составлять изъ нихъ цѣлыя басни; а потому, подобно всѣмъ влюбленнымъ, скажу: *мнѣ кажется... я надѣюсь*, и только. Безъ сомнѣнія, самолюбіе обманываетъ насъ часто и горько; толкуетъ въ свою пользу каждо слово, и нерѣдко записываетъ на свой счетъ взгляды, къ другому посланные; но... но или она слишкомъ ко всѣмъ чувствительна, или я настоящій глупецъ, если ошибся.

ПИСЬМО ВТОРОЕ.

(Мѣсяцъ спустя).

Адель любитъ меня! Когда бъ ты, Жоржъ, былъ здѣсь, я бы выкупалъ тебя въ шампанскомъ, на такой радости! Вообрази, она носитъ мой любимый цвѣтъ, поручила мнѣ вы-

боръ романовъ для чтенія, и учитъ наизусть отмѣченныя мною мѣста, и словомъ, множество бездѣлицъ, видныхъ и важныхъ только влюбленнымъ, измѣняютъ ея тайнѣ, льстя моему самолюбію. Конечно, ты можешь сказать: она носитъ твой цвѣтъ — это значитъ, что она любитъ его, а не тебя; она полагается на твой выборъ въ словесности, изъ этого я вижу, что ваши вкусы сходны; но изъ чего же слѣдуетъ, что взаимны ваши склонности? Пусть это такъ, другъ мой, но если бъ ты видѣлъ ея радость при нечаяномъ возвратѣ моемъ изъ курьерской поѣздки, — ея румянецъ, измѣнившій внутреннему волненію, если бъ чувствовалъ прерывающееся ея дыханіе — ты бы сознался, что до такой степени не достигаетъ никакое притворство. А я примолвлю, что съ той минуты она мнѣ стала милѣе всѣхъ, и всего дороже, и ни одна женщина, кромѣ ея, не будетъ любима мною, доколѣ бьется въ моей груди маятникъ жизни. О, какъ часто летаю я нынѣ, танцуя съ нею, отъ бальнаго паркета за седьмое хрустальное небо. Все, кромѣ ея, исчезаетъ для меня; всѣ мелькаютъ передъ глазами, будто Китайскія тѣни, и я въ какомъ-то сладостномъ восторгѣ, дышу упоительною атмосферою. Можешь догадаться, что я не пропускаю ни одного случая танцовать съ нею—

и я счастливъ. Ты напрасно не любишь баловъ: безъ этой благодѣтельной выдумки, наши дѣвушки умерли бы отъ скуки, посреди праздниковъ и увеселеній своихъ; потому что въ театрѣ у насъ едва кланяются знакомымъ, а на вечерахъ, прекрасный и непрекрасный полъ зѣваютъ особенно. Мудрено ли же послѣ этого, что дѣвушки страстно любятъ балы и танцы, какъ средства избавиться отъ скучнаго надзора и вѣчнаго молчанія? Тамъ, одна желаетъ блеснуть бирюзами, другая бирюзовыми глазками, третья показать прекрасную ножку, иная ловкость въ новомъ Парижскомъ па, а всѣ увидѣть и дружески позлословить другъ друга. Всѣ довольны, любопытство удовлетворено, тщеславіе находитъ пищу, сердце бьется сильнѣе, и подъ шумокъ котильона, (танца, котораго изобрѣтеніе я ставлю наровнѣ съ паровою машиною, компасомъ и летаніемъ по воздуху) рѣчи льются, улыбки расцвѣтаютъ — и вотъ красавицѣ снятся эполеты суженаго, — а тамъ и кольца, какъ въ руку сонъ. — Завтра же, не далѣе какъ завтра, буду я танцовать котильонъ съ нею, и прости мнѣ мое ребячество . . . мнѣ ужъ воображается, будто я собираюсь на балъ, верчусь передъ зеркаломъ, рву съ истерѣнья перчатки . . . минуты длятся, часы стоятъ —

кажется, вѣкъ не придетъ пора! — Но вотъ бьетъ десять — я кричу: пошелъ къ князю Г., и въ каретѣ качусь, выдумывая фразы, которыхъ не удастся высказать. Но вотъ пріѣхали . . . подножка падаетъ — и я прыгаю на лѣстницу, унизанную дремлющими лакеями — два шага и я въ передней залѣ, оправляю волосы, осматриваю пуговки и крючки, и съ трепещущимъ сердцемъ, но спокойнымъ лицемъ вхожу въ танцовальную залу, гдѣ музыка гремитъ, и все горитъ, все блещетъ. Кланяюсь хозяйкѣ, прошу кого-нибудь, чтобы мнѣ указали хозяина — и наконецъ даю волю глазамъ искать ту, которая одушевляетъ для меня балъ и единственно для кого я ринулся въ вихрь свѣта. Взоръ мой перепрыгиваетъ черезъ перья и цвѣты — скользитъ мимо талей и блондъ, блуждаетъ, можно сказать, въ цвѣтникѣ красотъ — и нѣтъ ея! . . . Вотъ кажется ея станъ, ея походка . . . но сердце безмолвно; это не она . . . но тамъ далѣе . . .

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ.

(Чрезъ двѣ недѣли).

Что я напишу ей въ альбомъ? Что я могу ей написать? Г[illegible]ленный духъ нашепталъ Адели[illegible]огда я спросилъ ее: на какомъ[illegible]о написать? На языкѣ истины, [illegible]На языкѣ истины! Какъ легк[illegible]какъ легко можно бы и выпол[illegible]ть ли въ свѣтѣ правду, и осмѣлю[illegible]ь: Адель, я люблю васъ? Но я не л[illegible]влиниться чужими чувствами, я ненавижу всѣ воздушные комплименты, на розовомъ маслѣ замѣшанные, всѣ эти мгновенные слѣды людскаго ничтожества. Притомъ по-Русски писать красно меня не учили, а я слишкомъ гордъ, чтобы изъясняться на языкѣ чуждомъ, и Адель такъ любитъ родину, что ей это не можетъ понравиться. Научи, Жоржъ, что дѣлать? Ты исписался и печатался; твои стихи горѣли и на папильоткахъ красавицы и надъ трубкою гусара. Но для меня тѣсенъ, холоденъ нашъ языкъ, когда нужно выразить кипящія страсти и радужныя ихъ измѣненія. О, для чего не могу я со-

любви, или зачѣмъ не могу я любить обыкновенно, какъ другіе! Зачѣмъ кровь, а не молоко, течетъ въ моихъ жилахъ! — Зачѣмъ, напримѣръ, не похожъ я на этихъ молодчиковъ, которыхъ вездѣ видятъ и никто не помнитъ, которые всѣмъ заняты и собой предовольны, или на товарища моего Форста, который набожно вдыхаетъ въ себя флегму предковъ изъ наслѣдственной трубки и, чтобы влюбиться классически, ждетъ ротмистрскаго чина? Съ такимъ расположеніемъ духа, я бы написалъ или списалъ въ альбомъ Адели какую-нибудь глупость, и заснулъ бы послѣ этого съ самодовольными мечтами. — Но теперь совсѣмъ иное: всѣ мои мысли растопились въ чувства, всѣ чувства слились въ одну страсть . . . я теперь весь — сердце. Будь моей головою, Жоржъ, разбуди во мнѣ хоть одну искру ума. — Написать ново — не умѣю, пустяковъ марать не хочу, а правду высказать нельзя!!

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ.

(Полтора мѣсяца спустя).

Другъ! я получилъ письмо твое, я приложилъ къ сердцу твои совѣты: они очень справедливы, но до того холодны, что отъ нихъ можно простудиться. Ты разсматриваешь любовь сквозь микроскопъ философіи, какъ насѣкомое; между тѣмъ, какъ ты бы долженъ былъ оторвать ее отъ моего сердца, какъ змѣю; ты хочешь набросить на нее покровъ смѣшнаго, когда она стала уже гибельна для друга твоего. Ахъ! всѣ сильнѣйшія средства, всѣ чувствительнѣйшіе укоры не помогли мнѣ вырвать изъ души своей вившуюся въ нее страсть!

Ты знаешь, Жоржъ, уступалъ ли я враждующей судьбѣ? Какъ же теперь подумать могъ, будто я безъ борьбы отдался въ плѣнъ любви? Нѣтъ, конечно нѣтъ. Я строгъ къ своимъ слабостямъ, я судилъ и удерживалъ себя — но мой чередъ пришелъ — я падаю предъ сокрушительною предестью сверхъестественнаго творенія. О, какъ горько итти мнѣ по широкому выгону воздыхателей, надъ которыми я всегда насмѣхался, и которыхъ названія страшился на

равнѣ съ именемъ труса. Какъ стыдилъ я самого себя, что мужчина, солдатъ, не переводя дыханія, ждетъ одного ласковаго слова, съ трепетомъ ловитъ каждый взоръ дѣвушки, губитъ время и забываетъ службу въ пустыхъ надеждахъ, въ дѣтскихъ желаніяхъ, въ ничтожныхъ игрушкахъ любви! — Какъ злобно высчитывало мнѣ честолюбіе всѣ потери неразлучныя съ супружескими видами. Въ мои лѣта, съ кипящимъ здоровьемъ, съ рѣшительностію, съ кой-какими военными познаніями — заключить свое поприще дѣтскою комнатою, ржавѣть въ бездѣйствіи, заживо обречь себя забвенію, чтобы въ то время, когда товарищи будутъ рвать лавры, мнѣ стричь мериносовъ, и вписывать свое имя не въ книгу вѣковъ, а въ женины векселя!! Это ужасно, Жоржъ, и тѣмъ ужаснѣе, что оно безполезно. Влюбленное сердце перемогло честолюбивую душу, и съ тайными слезами я продаю свободу свою за безнадежное счастіе. Завидна участь пловца, который тонетъ сонный; — но я вижу, куда стремлюсь, и не имѣю силъ остановиться: любовь къ Адели поглотила всѣ мои способности—я ничего не могу читать, нѣтъ другой мысли кромѣ о ней, нѣтъ другаго занятія, кромѣ страсти къ ней. — Спѣши ко мнѣ, другъ мой, спаси меня отъ самого меня!

ПИСЬМО ПЯТОЕ.

(Чрезъ недѣлю).

Нѣтъ! Я не изъ тѣхъ людей, надъ которыми смѣются безнаказанно. Мнѣ кровавыми слезами заплатитъ она за обманъ, если сбудутся мои подозрѣнія . . . и соперникъ мой скорѣе обручится съ мертвою пулею, чѣмъ съ Аделью. Но меня спросятъ, какое право имѣю я требовать отчета въ склонностяхъ Адели? Какія обязанности имѣетъ она быть мнѣ вѣрною? ... О, конечно никакихъ, если дѣло идетъ о наружныхъ приличіяхъ; но всѣ возможныя, всѣ священнѣйшія, если добровольное слово есть законъ для душъ благородныхъ. Я не обольщалъ ее притворствомъ, не скрывалъ своего бурнаго характера, казался не такимъ, какъ долженъ быть, не такимъ какъ желалъ бы казаться, но каковъ былъ въ самомъ дѣлѣ. Впрочемъ эта невѣрность, можетъ быть, есть созданіе моей ревности . . . одно желаніе нравиться! . . . О слабое сердце! жаждешь обмануться, чтобы не найти обмана въ сердцѣ Адели — и конечно я долго обманывалъ самъ себя, но не меня обманывать другимъ!! Нѣтъ, моя участь рѣшена. Развѣ не видѣлъ я ея замѣшательства, когда мы сходи-

лись съ Эрастомъ вмѣстѣ? развѣ не ощущалъ принужденности ея отвѣтовъ и обхожденія? развѣ не замѣтилъ, какъ прокралась слеза на длинную ея рѣсницу при вѣсти, что онъ упалъ съ коня? ... Сперва, принимая съ холодностію привѣты молодыхъ людей, она давала мнѣ замѣтить, что это для меня; теперь мы смѣнялись мѣстами съ Эрастомъ.—Правда, онъ благородный человѣкъ; любезенъ, милъ ... но развѣ все, что любезнѣе или красивѣе меня, должно плѣнять ея вниманіе? Почему жъ для меня не существуетъ пола, съ тѣхъ поръ, какъ я люблю ее? Почему жъ я лишь для нея имѣю сердце, глаза и даръ слова? Только ею, только для ней живу!

Онъ, кажется, ищетъ моей дружбы, кажется, онъ и жалѣетъ меня! . . . Какая обидная дерзость; я бы жалокъ сталъ самому себѣ, если бъ нуждался въ сожалѣніи моихъ враговъ. Ненавидимъ или любимъ хочу я быть; ему не дружбы, а гибели моей искать должно! Жестоки жгучія мученія ревности: въ солнцѣ нѣтъ для меня отрады, и у ночи не вымолю я сна; адъ во мнѣ и вокругъ меня.

Но если она въ самомъ дѣлѣ любитъ его?.. Тѣмъ хуже для нихъ: я ли потерплю, чтобы онъ съ усмѣшкою попелъ подъ вѣнецъ ту, въ которой любилъ я жизнь? Чтобы предпочтен-

ный мнѣ унижалъ меня своими къ ней ласками, чтобы гордость моя ежеминутно язвилась двузначными взглядами, чтобы я сталъ баснею города . . . чтобъ меня произвели въ неудачные женихи? Нѣтъ, этого не будетъ! Я или онъ долженъ кровію своею связать союзъ соперника съ Аделью; — далѣе, что будетъ, то будетъ, но во всякомъ случаѣ лучше жить памятью мести, чѣмъ изсыхать отъ мукъ ревности.

ПИСЬМО ШЕСТОЕ.

(Чрезъ недѣлю).

Кончено. Черезъ полчаса я стрѣляюсь съ Эрастомъ — и на смерть: причину къ тому найти было не мудрено. Жаль, Жоржъ, что тебя нѣтъ здѣсь, — мнѣ бы многое нужно тебѣ высказать; но желаніе не коверъ-самолетъ, и потому, я за глаза душевно благодарю тебя за твою нѣжную ко мнѣ дружбу. Мало такихъ людей, какъ ты, и едва ли есть подобные друзья; я любилъ тебя, много любилъ! . . . Слеза, которая упала теперь на письмо, вѣроятно есть послѣдняя жертва дружеству . . . — Завѣщаю тебѣ одну священную

ней! Я сожалѣю лишь о томъ, что не для нея умру. Говорю, умру, потому что я рѣшился ждать выстрѣла . . . я его обидѣлъ. Къ роднымъ я написалъ — утѣшь ихъ; оставляю своего Ивана — призри его. Если увидишь Адель, когда меня не станетъ, скажи ей, что я любилъ ее — и никого не могъ ненавидѣть. Секунданты здѣсь, пули пригнаты, пистолеты готовы; я ѣду — прости!

ПИСЬМО СЕДЬМОЕ.

(Четыре дня послѣ.)

Я убилъ его, убилъ этого благороднаго великодушнаго человѣка! Какъ онъ уговаривалъ меня, сколько жертвъ приносилъ моему счастію и своей чести, — я былъ неколебимъ — ложное честолюбіе окаменило мое сердце, и слѣпая судьба влекла на убійство, на злодѣйство. Какъ не послушался я внутренняго голоса, меня обвинявшаго! Да! такъ . . . и эта душевная тоска, залегшая въ сердце наканунѣ, развѣ не была отголоскомъ будущихъ угрызеній? И совершилось! Мы близились съ двадцати шаговъ, я шелъ твердо — вѣдь уже три пули просвистали мимо этой головы — я

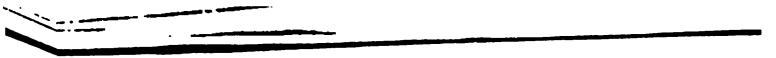
шелъ твердо, но безъ всякой мысли, безъ всякаго намѣренія: скрытыя въ глубинѣ души чувства совсѣмъ омрачили мой разумъ. На шести шагахъ, не знаю отъ чего, не знаю какъ, дрогнулъ я роковой пистолетъ — и выстрѣлъ раздался въ моемъ сердцѣ! . . . Я видѣлъ, какъ Эрастъ вздрогнулъ . . . Когда просѣло дымъ — онъ уже лежалъ на снѣгу и хлынувшая изъ раны кровь, пѣнясь, въ немъ застывала. Удалите, удалите отъ глазъ моихъ эту картину, сдвиньте съ сердца о ней воспоминаніе! Я кинулся къ нему . . . онъ отходилъ, взглянулъ на меня безъ гнѣва, подалъ мнѣ руку, прижалъ къ устамъ ленту, которая повязана была у него на рукѣ — это былъ поясъ Адели, «Адель! . . .» произнесъ онъ тихо, и свѣтъ выкатился изъ очей — слушаемъ . . . пульсъ молчитъ; подносимъ къ устамъ сабельную полосу — нѣтъ слѣдовъ дыханія: онъ умеръ!

Сколько разъ я слышалъ это слово равнодушно, но тогда этотъ звукъ голоса — какъ гора на меня обрушился. Въ забвеніи стоялъ я надъ хладнымъ трупомъ Эраста, и напрасно припоминалъ, за что убилъ его. Я чувствовалъ свое преступленіе, и не находилъ ему вины, и напрасно искалъ извиненія въ своей страсти — она какъ будто развѣялась съ выстрѣломъ,

будто застыла въ крови соперника. Мнѣ казалось, напротивъ, что я убилъ лучшаго друга, любимѣйшаго брата. Наконецъ ужасный пламень совѣсти освѣтилъ мой разумъ: какое право имѣлъ я быть судіею между жизнію и смертію? Какое безумство было требовать, что ни отъ кого изъ насъ не зависѣло! Можно ли повелѣвать сердцу? какъ можно было его не любить? И она любила его, и конечно была бы съ нимъ счастлива: мой бѣшеный нравъ не сходился съ ея кроткимъ нравомъ. Но я изъ зависти разорвалъ вѣнокъ ея счастія; думалъ, что въ страстномъ любовникѣ забудетъ она убійцу любезнаго, и въ моихъ кровавыхъ объятіяхъ любовь къ другому. Если жъ бы онъ убилъ меня — то пусть бы страшные сны отравили покой ихъ, и моя тѣнь вездѣ бы ихъ преслѣдовала! . . . Несчастный! Я позабылъ тогда о себѣ, я не зналъ, что, готовя месть ему, обрекъ себя на отчаяніе.

Я уже на гаупт-вахтѣ. Военный судъ назначенъ . . . жестокое и справедливое наказаніе ждетъ меня; но что значитъ все это, когда Божій перстъ на мнѣ тяготѣетъ! — Теперь ночь — все дремлетъ кругомъ, но не спитъ червь моего сердца. День проходитъ въ угрызеніяхъ совѣсти; ночь населяетъ темноту стра-

шилищами и . . . повѣришь ли, другъ, каждый стукъ, каждый окликъ часоваго заставляетъ меня вздрагивать. — Забываюсь ли утомленный — привидѣнія бродятъ кругомъ постели, и что-то шепчутъ мнѣ на ухо. Засыпаю ль — и ужасныя грезы волнуютъ сердце: роковой выстрѣлъ звучитъ, смертное стенаніе раздираетъ слухъ мой; то опять шепчущая тишина, то вдругъ похоронное пѣніе, надо мною стукъ заступа, мнѣ душно, я вдыхаю могильную пыль . . . гробовая доска давитъ грудь . . . червякъ ползетъ по лицу . . . Га!... вскакиваю, и капли холоднаго пота мнѣ чудятся капли крови . . . О, кто избавитъ убійцу ненавистной жизни! Для чего мы не на войнѣ! . . . для чего не разстрѣляютъ меня!



«Онъ филологъ, онъ антикварій:
Въ Толкучемъ, въ пряничномъ анбарѣ
Нашелъ онъ рѣчь о полъ-ушкѣ
На Финикійскомъ языкѣ.
За ней онъ годъ въ архивахъ рылся,
Надъ примѣчаніями бился,
Сличалъ и сравнивалъ — и вотъ
Съ нея буквальный переводъ.»

Литературное засѣданіе. Сатира.

Помните ли, когда гвардія въ торжествѣ возвратилась изъ Парижа? Боже мой, сколько привѣтныхъ: *ура!* сколько радостныхъ слезъ, сколько объятій и поцѣлуевъ, сколько разсказовъ и гостинцевъ, но пуще всего гостинцевъ! Дамы были внѣ себя отъ восхищенія, и не рѣдко раны и подвиги возвратившихся героевъ забывались для перчатокъ въ грецкомъ орѣхѣ, или серегъ, которыя наигрывали: vive Henri IV. Отъ зеркала бѣжали обнять братца, и снова покидали его, чтобы примѣрить передъ зеркаломъ косынку, или гребенку, полюбоваться

на Парижскій ридикюль, на цѣпочку, на рѣзной вѣеръ изъ пахучаго дерева. Вопросы и восклицанія сыпались на удачу: — Qu'il est beau de perdre un oeil pour la croix de St. George! говоритъ тетушка; et pour la patrie aussi! прибавляетъ воинъ. — Mais oui, cela s'entend! — Пуля плохо пошутила съ моими зубами, разсказываетъ кузинѣ молодой полковникъ. — Но за то у васъ теперь завидное произношеніе, возражаетъ она: vous grasseyez à ravir. — C'est bien gentil, душенька! говоритъ жена, цѣлуя мужа въ лобъ, но не сводя глазъ съ моднаго кольца: — c'est bien aimable de votre part. Однако ты писалъ, что у тебя отрѣзали ногу? — Французы оторвали, Французы и придѣлали ее, отвѣчаетъ мужъ, шутя. — И ты носишь деревянную? — Пробковую, m'amie, пробковую: она легка и гнется, какъ живая. — Въ самомъ дѣлѣ не узнаешь, которая поддѣльная — и я надѣюсь, душенька, протанцовать съ тобою мазурку! — Я буду *плавать*, m'amie, и теперь сама княгиня O. не *утопитъ* меня вистомъ, отвѣчаетъ мужъ, вытягивая за уши плохіе каламбуры. — Какіе искусники! восклицаетъ жена, любуясь то ногою мужа, то Парижскими башмачками: — que de naturel dans tout ce qui ne l'est pas! — C'est un peuple par excellence! прибавляетъ мужъ рѣшительно. — Правда ли,

что въ Парижѣ ѣдятъ рыбу пальмовыми вилками? спрашиваетъ бабушка. — Въ какой день недѣли Французское воскресенье? спрашиваетъ племянница. — Герой не успѣваетъ отвѣчать.

Все тогда стало у насъ Французское болѣе, чѣмъ когда нибудь: ленты и соусы, помада и пѣсни. У каждаго офицера побогаче завелся свой Lafleur, Lajeunesse, свой Ponchard или Sansquartier. Господа бредили каламбурами Потье, деньщики насвистывали Жоконда; словомъ: обѣ наши столицы походили на Пале-Рояль, переложенный на Русскіе нравы. Отчаянные Галломаны говорили: у насъ въ Парижѣ.

Теперь славная война съ Турками кончилась, и приливъ молодежи готовъ хлынуть на Москву и Петербургъ съ Азіятскими новинками. Не чугунную статуйку Наполеона, не томы Жомини притащитъ оттуда офицеръ, который мѣтитъ въ генералы. Не Желтаго Карлу, не пѣсни Беранжера и не табакерку съ фокусами вывезетъ вѣтреникъ для шалуновъ-пріятелей. Не блестящія игрушки и кудрявыя фразы принесетъ угодникъ прекраснаго пола. Нѣтъ, м. гг. первые явятся съ огромными тетрадищами, подъ заглавіемъ: записки о Турецкой войнѣ, или тактика Турокъ, или журналъ побѣдъ и. т. п.; другіе навезутъ съ со-

бой Турчатъ и Арабченковъ; но для васъ, милостивыя государыни, готовится гроза страшнѣе Темерлановой! Вы, отпуская своихъ витязей на брань, завѣщали имъ освободить женъ и невольницъ изъ гаремовъ нашей, разрушить ихъ цѣпи и затворы! Увы! эти витязи стали отступниками Платонизма! Они уже согласны съ Наполеономъ, что многоженство очень полезно, что недостойно для мужчины тратить свой вѣкъ на пустыя угожденія, сплетни и ссоры любовныя, и что не худо бы васъ держать въ заперти, чтобы укротить ваше самовластіе надъ нами! То ли еще? они хотятъ привести всѣ нѣжныя связи къ одному знаменателю: вести любовь лаконически, наъяленяться цвѣтами и мстить за измѣну кинжаломъ. Впрочемъ, во ожиданіи такого переворота, они будутъ дарить васъ, милостивыя государыни, Персидскимъ вареньемъ и Турецкими тканями. Модные термины поблѣднѣютъ передъ именами: кешмиръ, гакиль-гакиль, стамбулъ-гези, мовь, или теремапама! Мужья, братцы, племянники ваши, проклиная во время походовъ несносную погоду и природу Азіи, сгорѣвшія поля отъ зною, нагія горы, непроѣздимыя дороги, логовища, называемыя деревнями, и кучи камней за зубчатыми стѣнами, величаемыя городами, и въ нихъ сварливыя у-

лицы, комнаты безъ половъ и окопъ, рядомъ съ конюшнею, ковры, шевелящіеся отъ насѣкомыхъ, подушки, набитыя кислою шерстью, восточную гущу ихъ кофе, и кругомъ дымъ тизяковъ, крикъ ослятъ и раздирающее уши пѣніе Азіятцевъ — теперь будутъ разливаться передъ вами въ пышныхъ разсказахъ объ Азіятской роскоши, которой не видали мы ни блестки, о прелестяхъ одалыкъ, увезенныхъ прежде насъ далѣе, о зеленѣющихъ горахъ, о темноголубомъ небѣ и всей пышности отчизны гюль-гюль и бюль-бюль, т. е. розы и соловья.

По примѣру заразителенъ; мода прихотлива, и я право боюсь, чтобы красавицы наши не переняли обычая красить ладони и ногти красноватою краскою, или рисовать сердечки и звѣздочки между бровей. Согласенъ, что Турецкій амулетъ на прелестной груди Россіянки будетъ милъ, какъ таинственная печать на любовномъ письмѣ; но, ради трехъ грацій, не вывозите, господа, ни одного покрывала (чадры): они и здѣсь надоѣли до смерти.

Отпуски позволены, полки идутъ въ Россію, гвардейцы скачутъ въ Петербургъ — и тутъ-то пойдетъ революція въ домашнемъ быту офицерскомъ! Диваны стелются по полу; чубуки —

съ Коломенскую версту; трубки замѣнены воржуномъ кальяномъ. Р. А. побѣжденъ Турецкимъ табакомъ. На халаты — острацизмъ: ничего нѣтъ покойнѣе архалуха (шелковое полукафтанье), онъ такъ пристоенъ и легокъ! Но Закавказцы будутъ стягивать его Черкесскимъ ремнемъ, съ наборкою подъ чернядь, а Забалканцы опояшутся шелковымъ поясомъ или сафьяннымъ черезомъ, снятымъ съ убитаго собственною рукою Арнаута. Каждая лошадь будетъ Фатьма, или Аспа, или Чехине. Каждый пудель Мустафа или Джедзаръ. Мазурки загремятъ на голосъ: *Атма будашь* *; балеты запестрѣютъ чалмами, и въ гостиныхъ долго раздаваться будутъ слова: тонь-іолъ (пушечная дорога), кэрпи (мостъ), дагъ (гора), кале (крѣпость), санджакъ, (округъ) пашалыкъ (область), и тому подобныя термины, нашпикованные въ разсказъ для приданія мѣстной краски.

Но между тѣмъ, какъ орлы Русскаго Царя съ двухъ краевъ свѣта метали громъ на султана и несли побѣду на Стамбулъ съ башни на башню, съ хребта на хребетъ горъ непроходимыхъ, — наши строевые герои украша-

---

* Не бросай въ меня камнемъ! Серце мое уже прострѣлено взоромъ твоимъ! — Извѣстная и любимая Мусульманская пѣсня.

доточія вселенной, т. е. шаха, во время возмущенія въ Тегеранѣ. Этотъ *кессимбашъ* (говорѣзъ) вырвалъ изъ рукъ какого нибудь Лаза, или изъ зубовъ байрактара * — котораго, смиренно прибавитъ воинъ, удалось мнѣ свалить собственною рукою: вотъ и зазубрина отъ моего удара! Словомъ, въ теченіе полугода, Азіятское оружіе будетъ красоваться на стѣнахъ и проигриваться на столахъ нашей молодежи; но не болѣе полугода. Потомъ станутъ раздаривать ихъ пріятели, отдадутъ ихъ слугамъ, а изъ передней недалеко и до Толкучаго Рынка — вотъ судьба славы!

Но неужели же подражательность эта столь же безполезна, какъ смѣшна? — не думаю. Мы начали съ Французской вѣтрености, но скоро перешли къ ихъ просвѣщенію. Мы стали мыслить, желая научиться болтать, и чтеніе, принятое въ привычку, какъ мода, обратилось въ нравственную нужду. Нося Брегетовы часы, или очки Шевалье, стыдно стало не имѣть понятія о механикѣ, объ оптикѣ; покупая для тетушки Бразильскаго попугая — узнали по немногу, что Американцы не дика-

---

* Знаменоносецъ: они обыкновенно, какъ всѣ наѣздники Турецкіе и Черкесскіе, кидаясь въ схватку, держатъ саблю въ зубахъ, чтобы, выстрѣля, имѣть ее

узнаютъ и этого, то пристрастіе къ Азіятскимъ мелочамъ сдѣлаетъ ихъ свѣдущими судьями въ костюмахъ и декораціяхъ. Нѣчто лучше, нежели ничто.

Впрочемъ, говоря это, я разумѣю только толпу молодежи, которая, по разсѣянности воспитанія и вѣтренности нрава, не дала еще себѣ труда узнать и обсудить. Но теперь, какъ и прежде, войска наши не имѣли недостатка въ людяхъ Европейскихъ познаній и понятій основательныхъ по всѣмъ вѣтвямъ наукъ. Замѣчанія ихъ, конечно, прольютъ много свѣта на исторію и топографію странъ, пройденныхъ нами.

Къ небольшому, но почтенному кругу ученыхъ Кавказскаго корпуса принадлежитъ одинъ офицеръ, посвятившій себя на изысканіе древностей. Занятіе это, какъ по большей части случается, превратилось у него въ страсть ослѣпляющую. Онъ спитъ и — видитъ древнія медали, ходитъ и — грезитъ о рунахъ, надписяхъ, іероглифахъ. Для образчика я опишу вамъ вчерашнее съ нимъ свиданіе.

У самыхъ Эрзингапскихъ воротъ столкнулся я съ этимъ занимательнымъ чудакомъ. Онъ бѣжалъ внизъ, нахлобучивъ фуражку, со всею быстротою тѣла, катящагося съ горы, помноженнаго на истеричность характера, и я дол-

жемъ былъ, схватя его за руку, дважды повторить: куда, куда, нашъ Денонъ? покуда онъ очнулся.

— А! это ты, Ооха невѣрующій, сказалъ онъ, и спрашиваешь куда, стоя на порогѣ святилища?

Онъ потащилъ меня на поклонъ къ небольшой часовнѣ или придѣлу временъ Византійскихъ императоровъ, которую въ то время разбирали для перевозки въ Петербургъ.

— Эти двѣ дорожчатыя колонны, теперь полуразрушенныя, принадлежатъ къ огромной церкви, тутъ бывшей, произнесъ онъ: барельефы по обѣимъ сторонамъ Эрзинганъ-капи это доказываютъ.

Я осмѣлился усомниться.

Никакого слѣда большаго храма вблизи; колонны походятъ болѣе на минареты, или на памятники, а всего скорѣе на приворотные столбы. Арабески весьма подозрительны: ни стиль, ни вкусъ въ украшеніяхъ базиликъ, даже въ упадкѣ архитектуры, не были такъ нелѣпы. Правда, тутъ есть признаки двуглаваго орла — но развѣ не могли вплесть его Арабы въ свои пряничныя вязи, какъ охотники до всего чудеснаго, какъ трофей? И наши церковные рѣзчики вплетаютъ въ рѣзьбу и льва, и полумѣсяцы, и солнцы, но слѣдуетъ ли

аз того, что рѣзьба эта Персидская, или Турецкая?

— Но развѣ не могло случиться на оборотъ, возразилъ онъ, что Турецкому художнику поручено было Греками сдылать эти украшенія?

— Такъ; но куда дѣнется тогда твоя Византійская имперія?

Онъ закусилъ губу, говоря, что я не знаю въ томъ толку, что все это для меня тарабарская грамота!

— A propos! примолвилъ я ему: для нашей тарабарщины стоитъ быть Шампольономъ. Какія важныя преданія, сколько историческихъ истинъ можетъ таиться подъ немногими строками Русскихъ рунъ!

Онъ остановился.

— Я подумаю, сказалъ онъ: я подумаю о томъ, воротясь въ Россію — и ни одинъ колоколъ съ надписью, ни одна приписка къ часослову, ни одна проба пера не убѣжитъ меня.

— Лишь бы ты не бѣжалъ отъ нихъ. — Между тѣмъ надо написать къ Калайдовичу и Строеву . . . Счастливецъ Строевъ! теперь онъ на раздольѣ ростся въ ризницахъ монастырей и въ круганахъ богатырей Сѣверной Россіи, собираетъ и разбираетъ свитки съ юсами и безъ юсовъ и выкапываетъ Чудскія запястья или оружія древнихъ Славянъ . . .

между тѣмъ, какъ нашъ графъ такъ скоро перелетаетъ горы и области, такъ быстро беретъ города что, не успѣешь оглянуться — бьютъ подъемъ: впередъ и впередъ! Пойдемъ ко мнѣ обѣдать. — Пойдемъ.

Полдня еще не было, но военный меридіанъ протянутъ черезъ желудокъ. На дорогѣ онъ завербовалъ еще двоихъ товарищей. Надъ дверьми дома, въ которомъ обиталъ нашъ антикварій, по здѣшнему обычаю, прибита была туриная голова съ огромными рогами; я думаю, въ знакъ того, что и правовѣрные лбы имъ не чужды. Онъ очень жалѣлъ, что она слишкомъ громоздка для перевозки, а то пріятно бы вывезть ее, какъ рѣдкость патуральной исторіи, потому что туръ, гонимый собаками, съ утеса кидается въ пропасть на упругіе рога свои и, невредимъ, обманываетъ искусство охотника: при томъ же это Арзерумскій трофей.

Входимъ.

Прежній гаремъ походилъ на щепетильную лавку, или театральную уборную. Ржавыя оружія, Турецкіе уборы, банки и кофейныя чашечки, Арабскія книги и снимки съ надписей разбросаны были вездѣ. На Римскомъ топорѣ сушился плащъ; окно было приперто

ушки, лежала пара древнихъ кирпичей. Онъ съ гордостью смотрѣлъ, какъ мы лавировали между его рѣдкостями.

— Такъ эту-то дрянь, сказалъ я: ты возишь съ собою? Такъ для нея-то лишаешь себя необходимыхъ въ походѣ вещей и припасовъ, и тратишь всѣ свои деньги!

— Вандалъ, Остроготъ! вскричалъ съ негодованіемъ Антикварій: и ты называешь дрянью сборъ чудесъ, которыя обогатятъ любой народный музеумъ! Этотъ остеклѣвшій кирпичъ, напримѣръ, подаренъ мнѣ Англійскимъ путешественникомъ: онъ изъ развалинъ Вавилонскихъ. По немъ, можетъ быть, ходила стопа Семирамиды, лилась кровь Сарданапала, и огонь пожара Александра Великаго сохранилъ его для вѣчности. Этотъ прозрачный роговой щитъ восходитъ до временъ Бактріанъ; эта стальная поручь съ золотою насѣчкою — вѣка халифовъ Барместдовъ. Вотъ двойная ликторская сѣкира съ гербомъ императоровъ: легко статься можетъ, что она была въ рукахъ предковъ нашихъ, которые нанимались къ нимъ тѣлохранителями. Вотъ щиты крестоносцевъ *! Вотъ требникъ первыхъ вѣковъ христіанства, найденный въ Гюмюш-Ханѣ!

---

* Щитовъ сихъ множество въ арсеналахъ Турецкихъ. Они имѣютъ видъ однобокой трапеціи или

Тутъ онъ подалъ мнѣ пергаменную, закопченую, скоробленную книжку, въ которой ничего нельзя было распознать, и я сказалъ:

— Вижу въ ней только доказательство, что Антикваріямъ тогда лишь годится вещь, когда она никуда не годится.

— Когда вѣки подернутъ ее своимъ дыхомъ, когда печать разрушенія и ржавчины легла на нее, отвѣчалъ онъ: тогда только драгоцѣнна она въ глазахъ знатока. А то ваши чистенькія рукописи и свѣтленькіе рублевики, на которыхъ всякой лавочникъ можетъ разобрать буквы по складамъ — вздоръ, игрушка! Нашъ братъ, не только по тремъ — по одной литерѣ узнаетъ, какому вѣку и царю принадлежитъ книга или монета. Вотъ, напримѣръ, дивъ: угадай, какой земли? А?

— Я не вижу ни крошки.

— И не узналъбы, если бы и увидѣлъ: онѣ Хозроэса II-го, который похитилъ изъ Константинополя дерево Честнаго Креста и шелъ, вѣроятно, по Байбуртскому ущелію, гдѣ и найдены. Эти двѣ банки содержатъ въ себѣ воду растав-

---

сдвинутаго параллелограма; выкрашены на уголъ или пополамъ разными красками, иногда съ полосою чаще всего изображены цвѣты; гербовъ видѣть не случилось. Краски свѣжи. Чьи они? у Азіятцевъ щиты

[illegible]ихъ льдинокъ съ вершинъ Касбека и Арарата: какъ возвышается просвѣщеніе! первую прислалъ мнѣ пріятель изъ отряда генерала Эммануэля, другую доставилъ Парротъ.

Я перебилъ его вопросомъ: не получилъ ли онъ при этомъ кольца отъ цѣпи Прометеевой, или обломка Ноева ковчега.

Онъ не удостоилъ отвѣчать на это, и продолжалъ, боясь упустить случай къ разсказу:

— Эту львиную голову сбилъ я съ однихъ воротъ въ Байбуртѣ.

— Но почему же она львиная, а не конская? спросилъ одинъ изъ офицеровъ: три дыры, какъ на гранатѣ, и двѣ черты подлѣ рта, изображающія усы, предполагаютъ голову: но голова и усы бываютъ и у осетра!

Нашъ старинарь запнулся.

— Потому . . . потому, отвѣчалъ онъ: что художникъ вѣрно хотѣлъ изобразить необыкновенное, благородное животное, слѣдственно, всего скорѣе льва!

— Пусть такъ; но что за страсть къ уродливымъ изображеніямъ?

— Старина, любезнѣйшій, старина! Этотъ полипъ — звѣно въ цѣпи исторіи художествъ.

— Въ такомъ случаѣ тебѣ надобенъ огромный Пандемоніумъ: Сибирскія степи и горы населены разными идолами, которые безобра-

мъ и стариною не уступять никакимъ бол-
ламъ въ свѣтѣ.

— Мы и до нихъ доберемся, отвѣчалъ онъ
рьозно. Но вотъ звѣзда моего кабинета,
бавилъ онъ, грохнувъ на столъ огромный
мень. При взрывѣ на воздухъ Байбуртска-
замка, камень этотъ, какъ съ неба, упалъ
редо мною: на ловца и звѣрь бѣжитъ! Ка-
въ орелъ, изображенный на немъ? Имъ
кажу я, и безъ свидѣтельства историковъ,
о Байбуртъ находился во власти Восточной
періи.

— Можетъ статься, это и другая птица, за-
тилъ одинъ товарищъ.

— Самъ ты птица, mon cher, отвѣчалъ Ар-
ологъ: развѣ не видишь этой головы?

— Вижу.

— Вотъ тебѣ и другая голова.

— Другой не вижу: можетъ, время отку-
ло ее.

— Замѣть эту выпуклость подлѣ крыла въ
дѣ запятой: она предполагаетъ кривой носъ,
съ предполагаетъ голову: дважды одинъ —
а: слѣдственно, это Византійскій гербъ.

Всѣ качали головами, и я сказалъ, что онъ,
жется, сѣетъ свои предположенія на камнѣ.

— Я строю ихъ на камнѣ, гордо возразилъ
ъ, и въ доказательство началъ приводить

тексты изъ разныхъ историковъ; но ихъ упрямая память моя не запомнила на-тощакъ.

Къ счастію, скоро подали на столъ. Хозяинъ былъ очень любезенъ и веселъ, а гости между тѣмъ подтрунивали надъ его хозяйствомъ, увѣряя, что и поваръ его долженъ быть страстный Антикварій: супъ походилъ на черную Спартанскую похлебку; аладьи были тверже медалей царя Хозроэса, а надъ жаренымъ пѣтухомъ само время изломало бы зубы. Вѣрно онъ принадлежитъ къ числу Арзерумскихъ древностей, сказалъ я . . .

— Онъ одной фамиліи съ Византійскимъ, прибавилъ другой.

Хозяинъ смѣялся отъ чистаго сердца, и кусокъ Голландскаго сыра, виноградъ и доброе Кахетинское вино утѣшили насъ въ неудачѣ, столь обыкновенной въ походахъ.

— Какою славною, историческою дорогою вель насъ главнокомандующій отъ побѣды къ побѣдѣ! сказалъ хозяинъ, прихлебывая съ трубкою кофе и заводя снова разговоръ на древность. Здѣсь двигалась часть полчищъ Ксеркса, когда онъ шелъ потопить Грецію волнами варваровъ; здѣсь шли орды Тамерлана, разоривъ Византію; здѣсь, по всей вѣроятности, отступалъ Ксенофонтъ съ десятью тысячами Грековъ, заведенныхъ въ горы не-

вѣрными проводниками; здѣсь прочалася бурею Александръ Македонскій къ Кавказу . . .

Мы возопіяли однако жъ противъ этой догадки. Конечно историкъ его, Квинтъ-Курцій, говоритъ о здѣшнихъ горахъ, о Ланкѣ, неупомянувшемся до сихъ поръ; но ничѣмъ не подтверждается, чтобы онъ набралъ берегъ Чароха дорогою для своей фалангиг; равно какъ сомнительно, чтобы всѣ сказанные проводители сговорились набрать Байбуртское ущеліе для прохода. На сказки жителей полагаться нечего; на всемъ Кавказѣ нѣтъ ни одного замка, который бы не величался построеніемъ Искендера; Шамхорскій минаретъ и Дербентская стѣна поперегъ горъ — все его работа! Какъ на Западѣ всю древнюю постройку приписываютъ Юлію Цесарю, такъ въ Азіи все — Македонскому герою. Говорятъ: онъ былъ тамъ и здѣсь; говорятъ . . . но гдѣ доказательства.

— У меня въ чемоданѣ, увѣрительно отвѣчалъ нашъ лордъ Эрскинъ. Вы, я думаю, знаете, что Александръ, прогуливаясь по Азіи, любилъ раскидывать огромныя оружія, стремена, узды, чтобы потомки воображали воиновъ его великанами?

— Читали.

— Очень радъ. Это не сказка: я въ Бай-

буртекомъ ущелія, посланъ будучи засыпать перекопъ дороги, непорченной, какъ вы помните, ретирующимися Турками — нашелъ въ землѣ ужасной величины узду.

Въ самомъ дѣлѣ, онъ вытащилъ перержавѣлое желѣзо, имѣющее совершенный видъ узды; большія кольца на концахъ, два средніе колѣнца на третьемъ, удила — да и только! Видя, что мы начинаемъ убѣждаться, онъ принесъ еще старый клинокъ съ надписью: Marino Faliери.

— Мечъ этотъ не слишкомъ древенъ, произнесъ онъ съ довольнымъ видомъ: но онъ принадлежалъ знаменитому по своимъ подвигамъ, но несчастному дожу . . . и кто не читалъ трагедіи Байрона подъ этимъ именемъ? . . . Но вотъ, г-да, кладъ, а не диковинка! прибавилъ онъ, вытаскивая огромный шишакъ. За эту вещь Мусульмане готовы бы дать милліонъ рублей, или столько же ударовъ кинжала, еслибъ узнали объ ея существованіи — это шлемъ Магомета!!!

Мы кинулись его разсматривать: онъ былъ граненый и остроконечный, на подобіе Русскихъ шишаковъ, и очень заржавленъ; однако жъ, богатая золотая насѣчка проглядывала сквозь, а кругомъ свѣтлѣла Арабская надпись, недавно отчищенная. Насъ приводила въ сом-

нѣніе только величина его; при томъ же по краямъ не было обычныхъ скважинъ, для ваты и прикрѣпленія налобника и пашейника. Но догадливый Антикварій богатъ на изъясненія; онъ утверждалъ, что голова необыкновеннаго человѣка долженствовала быть покладистѣе нашихъ; что вмѣсто пашейника онъ носилъ, вѣроятно, кольчатую шапочку съ лопастями, а статься можетъ, надѣвалъ его на чалму.

Въ эту минуту дверь растворилась, и вошелъ храбрый маіоръ Татарской нашей конницы, Аббасъ-Кули, человѣкъ весьма просвѣщенный и милый. Мы обступили его съ распросами о трехъ древностяхъ. Началось съ клипка, потому, что Дагестанцы знатоки въ оружіи.

— Знаете ли, каковъ и какой этотъ клипокъ?

— Очень знаю, отвѣчалъ онъ: шалунъ П. Б. выпросилъ у меня эту старую дрянную полосу, которая служила вмѣсто шашлыка (вертела), велѣлъ мастеру вырѣзать буквы и потомъ положилъ въ уксусъ поржавѣть.

— А это что за вещь? сказали мы, предлагая Македонскую узду.

— Это... это Турецкій треногъ, отвѣчалъ онъ; къ тремъ кольцамъ пристегиваются путы.

Мы засмѣялись; Антикварій побѣдѣлъ.

— Переведите, пожалуйста, сказалъ онъ гордо, эту надпись — вотъ отсюда, гдѣ я вычистилъ сначала.

— При-над-лежитъ про-ро-ку Магомету, прочелъ Аббасъ-Кули, и хозяинъ вспрыгнулъ отъ радости.

— Не правъ ли я? не говорилъ ли я, что эта одна вещь стоитъ сотенъ другихъ рѣдкостей!

Между тѣмъ Аббасъ-Кули читалъ далѣе.

— Мы прочли не всю надпись, сказалъ онъ: вотъ полный смыслъ ея: слава принадлежитъ пророку Магомету; счастіе тому, кто слѣдуетъ корану его; да благословитъ Алла сію пищу!

— Пищу! воскликнули мы всѣ: да развѣ у васъ кушаютъ подъ хрѣномъ головы правовѣрныхъ? вѣдь это шлемъ!

— Извините, господа, хладнокровно отвѣчалъ ученый Мусульманинъ: это крышка съ блюда пилаву.

Электрическая искра смѣха потрясла насъ, и долго не могли мы остановиться. Едва затихалъ одинъ, хохотъ другаго опять увлекалъ всѣхъ.

— Чудесный шлемъ! говорилъ тотъ сквозь

— Ай-да Македонская узда! прибавлялъ другой, держась за бока.

— Этотъ дожъ могъ бы выѣхать на обрученіе съ моремъ на палочкѣ, замѣчалъ третій.

Аббасъ-Кули поглядывалъ на насъ, какъ на сумасшедшихъ, и комическое отчаяніе Антикварія довершало картину.

Не такъ бываетъ пораженъ неопытный юноша измѣною любовницы; не такъ свирѣпа львица, у которой отняли дѣтей. Сперва онъ упалъ на кровать, закрывъ лице руками; но гнѣвъ превозмогъ: онъ вскочилъ, швырнулъ гигантскія удила за окошко, согнулъ Венеціянской клинокъ о колѣно и зачалъ нинать знаменитый шлемъ изъ угла въ уголъ, браня ложныхъ друзей, которые дарятъ его на смѣхъ поддѣльными диковинками, или приходятъ смѣяться весьма обыкновенной неудачѣ.

Я старался утѣшить его, обѣщая выписать изъ дому щипцы, которыми Ричардъ Львиное сердце завивалъ усы свои, и шпоры съ той самой ботфорты Карла XII, которую прислалъ онъ въ Сенатъ, для управленія Швеціею — и все это съ несомнѣнными доказательствами, съ патентовою родословною; но огорченный любитель древностей послалъ меня къ чорту, вмѣстѣ со шпорой и щипцами.

ЧАСЫ И ЗЕРКАЛО.

(Листокъ изъ дневника.)

«Time steal on us and steal fromus.»
Byron.

— Куда прикажете? спросилъ мой Иванъ, приподнявъ лѣвою рукою трехъ-угольную шляпу, а правою завертывая ручку наемной кареты. Къ генеральшѣ S. сказалъ я разсѣянно. Пошелъ въ Морскую! крикнулъ онъ извощику, хватски забѣгая къ запяткамъ. Колеса грянули, и между тѣмъ, какъ утлая карета мчалась впередъ, мысли мои полетѣли къ минувшему.

Сколько пріятныхъ часовъ провелъ я у генеральши S. . . . Милая дочь, умное общество, занимательная бесѣда, привѣтливое обхожденіе, прекрасная дочь . . . Ахъ боже мой! да это повтореніе! по неволѣ приходит-

ся начинать и заключать ею — она была душой, а можетъ быть и предметомъ всего этого! Чадъ большаго свѣта не задушалъ въ ней искренности, придворныя блестки сверкали только на ея платьѣ, но остроуміе не имѣло въ нихъ надобности. Весела, безъ принужденія, скромна безъ жеманства, величава безъ гордости, она привлекала сердце очами, и обворожала умы словомъ. Самыя обыкновенныя вещи, ею произносимыя, принимали особую жизнь отъ чувства или мысли, выраженныхъ лицемъ, отъ нажека въ одушевленныхъ звукахъ голоса. Никто лучше ея не умѣлъ сливать свѣтскую вѣтреность съ сердечною мечтательностію, и храня строгій этикетъ модныхъ приличій, повелѣвать межъ тѣмъ модою — и отлично. Всегда окружена роемъ комаровъ — остроумцевъ, щеголей — мотыльковъ, и шпанскихъ мухъ — богачей, она одна какъ будто не замѣчала ни привѣтовъ, ни вздыханій, ни взоровъ, ни вздоровъ, которыми ее осыпали. Стрѣлы паркетныхъ купидоновъ отражала она своимъ вѣеромъ — и самыя мѣткія высыпались вонъ изъ корсета при раздѣваньѣ, вмѣстѣ съ лишними булавками. Не скажу, чтобы тщеславіе, чтобы злословіе — двѣ стихіи большаго свѣта, были ей чужды, — нѣтъ! это едва ли возможно для всякой жен-

щины, и вовсе не возможно для дамы лучшаго тона. Что бы заняло ихъ дома? о чемъ бы стали онѣ шептаться на балахъ, на съѣздахъ, на зрѣлищахъ, если бъ оставить въ покоѣ всѣ репутаціи, всѣ морщинки лицъ и складки платьевъ, всѣ ужимки и уборы присутствующихъ, и всѣ городскія вѣсти, изобрѣтенныя отъ *нечего дѣлать*, и повторяемыя отъ *нечего сказать?* По крайней мѣрѣ, она была тщеславна болѣе по примѣру, чѣмъ по сердцу; по крайней мѣрѣ, насмѣшки ея были растворены какимъ-то добродушіемъ: не уязвить того, о комъ велось слово, желала она, а только развеселить того, кому разсказывала. Далеко отъ Амазонскаго тона многихъ столичныхъ ровесницъ ея, она терпѣливо слушала лепетанье добрыхъ, неопытныхъ, довѣрчивыхъ новичковъ — не превращая ихъ въ мороженое уничтожительнымъ взоромъ или словомъ, брошеннымъ съ высоты презрѣнія, и ни одно умное словцо, ни одно острое замѣчаніе не оставалось безъ награды ея улыбки, кѣмъ бы ни было оно сказано.

Кладу перо, и хладнокровно себя спрашиваю: не мадригалъ ли это сочиненный моимъ сердцемъ? Не влюбленъ ли я? Но что значитъ это слово? Я такъ часто былъ влюбленъ, что, мнѣ кажется, люблю только тѣхъ,

въ которыхъ не влюблялся, слѣдственно не разлюбилъ. Нѣтъ! это не сердечное пристрастіе: чувства мои къ ней были нѣжнѣе пріязни — но тише любви. Я досадовалъ бывало, когда безотвязные пустословы мѣшали мнѣ поговорить съ ней, но не ревновалъ. Не знаю, мои ли обстоятельства или опасеніе не получить полной взаимности удержали меня между небомъ и землею — только я не падѣвалъ на себя пестраго колпака вздыхателей, и скрѣпивъ сердце, грѣлся, но не сгаралъ ея красотою. Бывало часы летѣли и рѣчь кипѣла ключемъ, когда она, сбросивъ свѣтскіе узы жеманства вмѣстѣ съ тафтяными цвѣтами и пышными регаліями скуки, возвращалась въ домашній кругъ свой, будто сей часъ изъ нелепъ природы. Какъ простодушно умна, какъ непритворно чувствительна тогда бывала она! Я никогда не забуду послѣдняго вечера, проведеннаго съ нею: четыре года отлучки и бивачная, разбойничья жизнь въ горахъ Кавказа не сгладили о томъ воспоминанія: все это какъ вчера у меня передъ глазами.

Со мною не церемонились—я былъ у нихъ почти домашній; и послѣ обѣда мать отправилась faire la sieste—немножко отдохнуть, чтобы не зѣвать на балѣ, на который собирались онѣ. Мы остались у камина, братъ ея, кавалеристъ,

ремалъ подъ благодатнымъ вліяніемъ Англій-
кихъ угольевъ, и только порой побрякивалъ
шпорами: видно, мысли его танцовали тогда
азурку. Старшая замужная сестра Софьи за-
ималась счетомъ бисера для узоровъ кошель-
а; за то мы вдвоемъ говорили за четверыхъ,
рѣчь шла, конечно, не о слезахъ Андро-
ахи.

Слово коснулось живыхъ картинъ, и я ска-
алъ, что многія дамы наши выигрываютъ въ
ихъ безмолвіемъ и неподвижностію, но что
сѣ мы теряли въ вашемъ молчаніи, mademoi-
elle Sophie. Правда, вы были живою мыслію
живописца; вы одушевили, возвысили ее соб-
твеннымъ выраженіемъ и воображеніемъ; но
дно движеніе, одинъ звукъ, вызвалъ бы ис-
ру восторга, который таился еще въ нѣмомъ
озерцаніи!

— Даже, если бъ я чихнула? лукаво спро-
ила она, возражая на комплиментъ мой: al-
ons, m. Alexandre, я не люблю шуму, и отъ
ысокаго до смѣшнаго одинъ шагъ. Пойдемъ-
е-ка, я лучше покажу новую свою работу по
архату, свою совсѣмъ не живую картину!

Сказавъ это, она порхнула впередъ; я пред-
ожилъ руку старшей сестрѣ, которая, полу-
шутя, полусерьозно выговаривала Софьѣ, что
она безъ матушки приглашаетъ молодаго че-

и мы счастливо совершили Суворовскій переходъ.

Какъ жаль, что у насъ нечѣмъ выразить Англійскаго слова: awe. Это не страхъ, не благоговѣніе, не изумленіе, но что-то такое, которое имѣетъ въ себѣ нѣчто отъ всѣхъ трехъ. Такимъ-то чувствомъ бывалъ проницаемъ я, переступая порогъ кабинета прелестной дѣвушки, пораженъ не тѣмъ, что видѣлъ тамъ, но тѣмъ, что угадывалъ или воображалъ. Здѣсь, при лучахъ утренняго солнца, вода оспѣваетъ ее, какъ розу . . . Здѣсь передъ зеркаломъ выбираетъ она изъ модной своей оружейницы (т. е. гардероба) самые убійственные для насъ наряды; здѣсь примѣряетъ новую шляпку, новую улыбку къ лицу, или испытываетъ небрежно живописное положеніе; здѣсь повторяетъ печаяные взоры, вздыхаетъ за романомъ, мечтаетъ послѣ бала . . . и, кто тотъ счастливецъ, о комъ мечтаетъ она? Съ такимъ-то чувствомъ сладкаго страха вступилъ я въ комнату Софіи, какъ будто въ святилище. Нѣкоторая таинственность, нѣкоторый рискъ придали тому еще больше цѣны. Все мнѣ казалось тамъ очаровательно: уборы и вкусъ ихъ, свѣтъ и воздухъ! Бронзовыя и хрустальныя бездѣлки манили взоръ прелестью работы или возбу-

ждали любопытство новостью изобрѣтенія. Млечная крышка лампы проливала сіяніе лу-ны; цвѣты и духи вѣяли ароматомъ. На канделабрѣ висѣли шляпки съ вуалемъ для гу-лянья по Невскому. На письменномъ столикѣ, между блестящими альбомами, умирающій Ма-лекъ-Адель бросалъ послѣдній взоръ изъ-подъ Англійской карикатуры. Полуразрѣзанный ро-манъ Вальтеръ-Скотта заложенъ былъ пригла-сительнымъ билетомъ на балъ; на недокончан-номъ письмѣ брошена была подвѣльная гир-ляндa, и журналъ модъ, развернутый на кар-тинкѣ, осѣнялъ своими крыльями Шиллера и Ламартина; полусожженный листокъ изъ Дар-ленкура, служившій для зажиганія кассолета, заключалъ картину — словомъ все въ плѣни-тельномъ безпорядкѣ — то была ода въ Ана-креонтическомъ родѣ или лучше, исторія серд-ца и ума свѣтской дѣвушки. Такъ я могъ слѣ-дить ея прихоти и склонности — борьбу вѣ-трености съ жаждою познаній, съ потребно-стію занятій душевныхъ; желаніе блеснуть, нравиться, и побѣждать равно наружностію и умомъ въ свѣтѣ, столь скучномъ своими о-бычаями, и столь миломъ по привычкѣ. При-вычка вторая природа, говорятъ всѣ. Мнѣ ка-жется, что природа сама — первая привычка. Ни больше, ни меньше.

Софія сдернула покрывало съ небольшихъ пяльцевъ, въ которыхъ натянута была бархатная бѣлая полоса, и на ней яркими оттѣнками весьма искусно изображалась вязь плодовъ, перемѣшанныхъ съ цвѣтами. Я много глядѣлъ то на работу, то на Софію, и снова попеременно; она взглядывала, то на меня, то въ зеркало.

— Вы настоящая Аврора, сказалъ я: подъ вашими перстами расцвѣтаютъ розы.

— Развѣ маки, возразила она: я встаю слишкомъ поздно для вѣстницъ Феба. Притомъ быть Петербургскою зарею, значитъ проститься со всѣми своими знакомыми — которые видятъ восходъ солнца только на Вернетовой картинѣ!

— Я увѣрялъ, что она весь свѣтъ сдѣлаетъ раннею птичкою, введетъ въ моду утреннія прогулки, и всѣ лорнеты, всѣ трубки обратятся къ востоку, подобно очамъ правовѣрныхъ! Она возразила, что спрашиваетъ о цвѣтахъ, а не о себѣ. Я говорилъ, что невозможно глядя на нихъ, не вздумать о лучшемъ изъ нихъ. Она желала знать, хороша ли работа. Я отвѣчалъ, что въ отсутствіи художницы она казалась бы прелестною, но при ней искусство уступаетъ природѣ, и краски кажутся безжизненны, что перенки могли бы позавидовать

пуху щекъ ея, а ровъ надо бы занять у нея румянца. Она говорила, что я привѣтливъ (complimenteux) слишкомъ по-свѣтски. Я говорилъ, что я слишкомъ искрененъ для свѣта.— Она говорила, что иногда не понимаетъ меня. Я говорилъ, что теперь и самъ себя не понимаю. Она говорила — виноватъ, она молчала — но я не переставалъ говорить глупости — и не диво: благовонный воздухъ дамскихъ кабинетовъ наноситъ ихъ прелестями — взоры ихъ такъ обворожительны, божественная заря такъ прилична! Сердце таетъ, языкъ болтаетъ, и все это дѣлается, самъ не знаешь, какъ!

Било семь.

— Какъ они отстаютъ! вскричала Софія.

Восклицаніе это доказывало нетерпѣніе ея быть на балѣ, гдѣ найдетъ она множество поклонниковъ, затмитъ многихъ соперницъ. Я взглянулъ на часы, едва ли не со вздохомъ— они врѣзаны были на верху большаго трюмо. Странное сочетаніе! Урокъ ли это нравственности? напоминаніе ли, какъ дорого время, или эмблема женскихъ занятій, посвященныхъ зеркалу? Пріятное ли, раздѣленное съ полезнымъ, или полезное — жертва пріятному? Вѣроятно, мастеру, который, для странности, или *по случаю*, соединилъ въ одно эти разнород-

ным начала, не вспадало на умъ ничего подобнаго; да и самъ я подумалъ о томъ, будучи ужъ дома и одинъ.

— Направо, стой! кричитъ Иванъ.

Карета остановилась; звонокъ дрожитъ на пружинѣ, и сердце мое бьется... Это ничего! точно также билось оно у дверей каждаго изъ прежнихъ друзей моихъ. Радость ихъ видѣть и вмѣстѣ страхъ увидѣть остывшими, или не такъ счастливыми, какъ бы хотѣлось, неизвѣстность встрѣчи или пріема — вотъ что волнуетъ грудь странника. »Принимаетъ!» говоритъ старикъ швейцаръ, вздѣвая очки на носъ, но прежде, чѣмъ онъ успѣлъ разглядѣть и узнать меня, и удивиться, что я такъ давно не былъ — я уже на верху лѣстницы, я уже въ гостиной. Генеральша, разговаривая съ двоюродною сестрою своею, почтенною женщиною преклонныхъ лѣтъ, раскладывала гранпасьянсъ. — Очень рады. — Послѣ обыкновенныхъ распросовъ, гдѣ и какъ былъ, что выслужилъ, я навѣдался о здоровьѣ любимой дочери. Слава Богу! она у себя въ комнатѣ, отвѣчали мнѣ: и будетъ довольна, васъ увидя; не угодно ли потрудиться войти къ ней?

Я удивился, но не заставилъ повторять себѣ приглашенія. Что бы это значило? думалъ *я... только* однажды, и то украдкою, мнѣ по-

счастливилось быть у Софіи въ комнатѣ, какъ ни коротокъ я прежде былъ въ домѣ; а теперь меня посылаютъ туда безъ провожатаго! Люди или обычаи здѣсь измѣнились?

Софія встрѣтила меня радостнымъ восклицаніемъ, какъ стариннаго друга — и въ этотъ разъ грѣшно бъ было сомнѣваться въ ея искренности: она была такъ уединенна, такъ одинока! Она не походила на себя— на прежнюю себя. Куда дѣвалась эта свѣжесть лица? этотъ прозрачный, тонкій румянецъ, эта роса любви, въ очахъ тающая? эта нѣжность лилейной шеи, гордой груди? Тѣ же цвѣты, обновясь, красуются на ея окнахъ, но она увяла! Неужели четыре года — вѣкъ красоты? Нѣтъ, я прочиталъ иную повѣсть въ томныхъ чертахъ, въ грустныхъ взорахъ Софіи! Не отъ одной напряженной жизни большаго свѣта, не отъ безсонницы и утомленія на частыхъ балахъ, такъ быстро поблекла она;—къ этому присоединились нравственныя огорченія: червякъ тоски тихо сточилъ ея сердце, и роза опала, не переживъ весны своей. Колесо моды вынесло вверхъ другихъ красавицъ; и поклонники прежней умчались вслѣдъ новыхъ метеоровъ; — атмосфера вздоховъ, которою жила, дышала Софія, разсѣялась, и она, къ досадѣ своей,

поглощать свое униженіе, и такъ сказать, украшать трофеи соперницъ. Слишкомъ строгая въ выборѣ во время владычества, по вкусу, она и теперь не измѣнила себѣ, изъ гордости. Связи родства и приданое ея не были такъ значительны, чтобы привлечь превосходительныхъ (я не говорю, превосходныхъ) жениховъ-математиковъ; а люди, достойные ея по сердцу и лѣтамъ, удалялись невѣсты столь высокаго полета, привыкшей къ блистающей жизни, къ знатному кругу знакомства, котораго не могли, а можетъ быть и не желали бы поддержать. Кто знаетъ: можетъ, и любовь тайная или обманутая, отвергнутая или не раздѣленная? . . . И это сердце, созданное для того, чтобъ любить — изныло въ одиночествѣ, средь людей, посреди шуму, безотвѣтно! И эта прелестная дѣвушка, которая украсила бы общество, какъ супруга, какъ мать — отжила для надежды въ 23 года, забыта свѣтомъ, которому принесла себя въ жертву. О, свѣтъ, свѣтъ! какъ мало даешь ты за все, что отнимаешь! Блестящи, но тяжки золотыя цѣпи твои, и мы еще болѣе отягчаемъ ихъ связями. Умножая наслажденія, мы умножаемъ страданія разлуки съ ними: мы срастаемся съ тобой, и рука судьбы, отрывая насъ прочь, расторгаетъ

Въ кабинетѣ Софіи замѣтно было гораздо болѣе порядка: все у мѣста, все прибрано — теперь ей болѣе досуга. Сама она сидѣла спиной къ зеркалу, которое не могло уже ей показывать, какова она была, и въ которомъ не хотѣла она видѣть себя, какою стала. Она углублена была въ чтеніе исторіи герцоговъ Бургундскихъ, доказательство, что занятія ея стали основательнѣе — нѣтъ худа безъ добра. Она показалась мнѣ любезна по прежнему, но въ остроуміи ея было менѣе живости, въ эпиграммахъ болѣе соли, чтобъ не сказать, желчи. Она смѣялась, но уже этотъ смѣхъ обличалъ досаду покинутой, а не удовольствіе торжествующей красоты. Разговоръ былъ болѣе шутливъ, чѣмъ веселъ. Она просила меня разсказать подробнѣе о Кавказѣ. Пушкинъ принуждалъ только уголъ завѣсы этой величественной картины, говорила она: но госпожа другія Ноты сдѣлали изъ этого великана въ ледяномъ вѣнцѣ и въ ризѣ бурь, какой-то миндальный пирогъ, по которому текутъ лимонадные ручьи! Я, какъ умѣлъ, вѣрнѣе старался изобразить ей ужасающія красоты Кавказской природы и дикіе обычаи Горцевъ, этотъ досель живой обломокъ рыцарства, погасшаго въ цѣломъ мірѣ. Описалъ жажду славы, по ихъ образцу созданной; ихъ страсть

къ независимости и разбою; ихъ невѣроятную храбрость, достойную лучшаго времени и лучшей цѣли. Бесѣда наша была довольно любопытна, даже занимательна, но со всѣмъ тѣмъ мы оба охотнѣе бы промѣняли всѣ эти разсудительные разговоры на тотъ часъ, когда мы болтали вздоръ, склонясь надъ рисованными цвѣтами!!

Между прочимъ Софія поздравила меня съ избавленіемъ отъ страсти къ комплиментамъ. Привѣтъ это или укоръ? я въ самомъ дѣлѣ не сказалъ ей ничего лишняго: ложь замирала у меня на устахъ. Женщины однако любятъ похвалы красотѣ своей, еще больше, когда она исчезла. Въ цвѣтѣ онѣ принимаютъ ихъ за долгъ, въ отцвѣтѣ за даръ: это наши князья безъ княжествъ, графы безъ графствъ. Сіятельство пріятно имъ и безъ сіяющихъ достоинствъ, какъ обѣтъ или воспоминаніе.

Наконецъ я взглянулъ на часы, и всталъ, чтобы сойти въ гостиную.

— Не вѣрьте имъ: они бѣгутъ! сказала Софія.

Какъ много въ немногихъ словахъ!! Давно ли, когда надежда торжества опережала время, она говорила, глядясь въ зеркало: они отстаютъ! Теперь, когда вылиняли крылья радости, и сердце не успѣваетъ уже за временемъ, те-

перь: они бѣгутъ! Такъ, они бѣгутъ! и невозвратно! Сочетаніе зеркала съ часами поразило меня болѣе, чѣмъ когда нибудь: въ два раза вся исторія красавицы мнѣ видѣлась въ нихъ начертанною, мнѣ видѣлся въ нихъ живой, но безполезный урокъ тщеславію.

Я вышелъ грустенъ.

Случайныя слова: они бѣгутъ, они отстаютъ! произвели на меня сильное впечатлѣніе, произнесены будучи особою столь несчастливою, но столь достойною счастія. Ровными стопами — идетъ время, только мы спѣшимъ жить въ молодости, и хотимъ помедлить въ ней, когда она улетаетъ, и отъ того мы рано старѣемъ безъ опыта, или молодимся потомъ безъ прелести. Никто не умѣетъ пользоваться ни выгодами своего возраста, ни случаями времени, и всѣ жалуются на часы, что они бѣгутъ или отстаютъ. О, Софія, Софія! Не имя, а участь твоя навела на меня этотъ порывъ *мудрости:* твои часы и зеркало еще и теперь у меня не-

ВУДОЧНИКЪ-ОРАТОРЪ.

Темна была ночь Петербургская; хладенъ вѣтеръ осенній. Мелкій дождь разсыпался дробью, фонари чуть мелькали въ туманѣ. Все было тихо по улицамъ — на башнѣ Думы било двѣнадцать.

— Кто идетъ? закричалъ будочникъ.

— Отвѣта не было. —

— Кто идетъ? закричалъ онъ грознѣе нижо-идущей бабѣ.

— Солдатъ! отвѣчала она.

Будочникъ задумался.

Въ это время я сидѣлъ за письмами, и кончивъ дѣловыя, принялся было писать къ тебѣ, *милой N. N.*; но голова моя была пустые дж-

ского журнала; пальцы будто отморожены: ни одной мысли, никакой шутки не могъ я выжать изъ пера, утомленнаго прозою жизни, и очиненнаго совсѣмъ не на дружескую руку. Я бросилъ его, и отворилъ окошко. Невскій проспектъ, чуть озаренный фонарями, терялся во мракѣ на обѣ стороны. Прозаическій дождикъ жу́рчалъ по мостовой, и глухо звучали потоки его въ жестяныхъ трубахъ. Послѣдняя карета прогремѣла, и все опять смолкло. Гдѣ-гдѣ, усталый звонъ шпоръ и бряканье палаша по тротуару доказывали, что идетъ кирасиръ съ приказною книгой, или шарканье калошъ какого нибудь штатнаго бостонщика биргерклуба возвѣщало возвратъ его домой. Будка стояла прямо подъ моимъ окномъ, и въ охрипломъ голосѣ будочника узналъ я стараго знакомца: онъ каждый торжественный день, разнося повѣстку объ иллюминаціи, заходитъ поздравлять меня съ праздникомъ, разумѣется, въ надеждѣ получить на водку. Въ молодости своей онъ учился въ семинаріи, и кажется, не дурно, потому что до сихъ поръ пересыпаетъ разсказы свои Латинскими цитатами; но выгнанный оттуда за пьянство и шалости, попалъ въ солдаты, былъ произведенъ въ ундера, опять разжалованъ, и наконецъ, переходя или, лучше сказать, исходя по всѣмъ

степенямъ своего званія, изъ пожарной команды сталъ блюстителемъ общественнаго спокойствія. Комическая встрѣча его съ хмельною старухою очень меня забавляла, когда на окликъ: кто идетъ? она отвѣчала, солдатъ.

Будочникъ задумался.

— Солдатъ? произнесъ онъ сомнительно. Солдатъ? повторилъ онъ съ укоромъ. Не солдатъ ты, а барабанщикъ бѣсовскаго легіона, старая вѣдьма, прости Господи!

Къ чести будочника я могу засвидѣтельствовать, что при этихъ словахъ онъ сдѣлалъ сѣкирою на молитву, и перекрестился. Между тѣмъ кумушка уплеталась, какъ дозволялъ ей избытокъ лѣтъ и вина. Скоро поворотила она въ Морскую — и *скрылась отъ исторіи*. Она скрылась, но неумышленно произнесенное ею слово повернуло всѣ мысли моего мудреца въ *броню серьмяжной*.

Онъ вытащилъ берестяную табакерку, дернулъ за хвостикъ; крышка щелкнула, и онъ, классически перемявъ зеленчакъ между пальцами, началъ нюхать, что называется, съ разстановкою, ворча за каждымъ нюшкомъ: — солдатъ? Гм, гм, солдатъ!! такъ что я по *разнымъ ударѣніямъ* его голоса могъ угадать, *какія мысли* шевелились въ стриженой его го-

ловѣ. Однако жъ послѣдній разъ произнесенъ былъ такъ двоесмысленно и послѣ него молчаніе длилось такъ долго . . . что я еще и теперь въ недоумѣніи, приписать ли это многосторонности зерновой идеи, наслажденію ли нюханія, которое въ ту минуту могло проникнуть до самаго перекраніума, или наконецъ винными парамъ, на время затмившимъ его память. Полагаю послѣднее мнѣніе тѣмъ болѣе вѣроятнымъ, что наконецъ онъ вскрикнулъ: солдатъ! такъ радостно, какъ будто нашелъ въ карманѣ давно затерянный пятакъ. На этотъ разъ роковое слово было вступленіемъ слѣдующей рѣчи:

— Солдатъ, боги безсмертные! женщина, слабая женщина дерзаетъ назвать себя воиномъ! женщина — это подраженіе человѣку или, лучше сказать, человѣкъ на изнанку; обреченная природою совершать свой орбитъ около домашняго очага или дѣтской люльки, носи девять мѣсяцевъ грузъ подъ сердцемъ, и годъ на груди! Существо, предназначенное *только производить*, смѣетъ самозванно облечься въ высокое званіе *разрушать* себѣ подобныхъ, званіе, требующее — крѣпкихъ силъ души и тѣла, женамъ недоступныхъ! Странная заносчивость, — чудный антитезисъ! Не потому ли хотятъ онѣ владѣть копьемъ Марса, что

Геркулесъ прялъ веретеномъ у ногъ Омфалы; по орлахъ случается и ниже куръ спущаться, говоритъ Крыловъ; однако жъ курамъ не подняться наравнѣ съ орлами. Не станемъ пробѣгать царства, давно исчезнувшія, и поднимать изъ гробовъ давноистлѣвшія кости. Знаю, конечно знаю баснную исторію или, лучше сказать, историческую басню объ Амазонкахъ; слыхалъ и о дѣвѣ Орлеанской, и о Гетѣ и Висѣ Норманкахъ — но что это доказываетъ? Онѣ явились, какъ исключенія, исчезли, какъ невозможность. Что же касается до новѣйшихъ героинь, какъ Испанки въ Сарагоссѣ, какъ наши старостихи Василисы, Бубулина и проч., — онѣ дѣйствовали въ горячкѣ какой нибудь страсти, и то на краткое время. Знаю, что онѣ могутъ славно, умно повелѣвать, да иное дѣло повиноваться, и я приглашаю всѣхъ служакъ земнаго шара привести въ дисциплину дюжину кумушекъ! Легче заставить молчать непріятельскую баттарею, чѣмъ языкъ женщины; и если бы въ женскихъ рядахъ лопнула граната, начиненная для смѣху лентами и бусами — прощай служба и битва: онѣ передрались бы между собою за стекляруcъ. Не говорю уже о храненіи тайны: каждая наша Амазонка готова была бы съ часовъ бѣжать въ цѣпь непріятельскую, чтобъ

имѣть удовольствіе разсказать тамъ, первой, пароль и отзывъ, именно потому, что это запрещено. И такъ пусть будутъ женщины губернаторами мужей губернаторовъ, пусть юрисконсульты водятъ къ нимъ nolens-volens на совѣщанія: это водится нерѣдко на свѣтѣ, какъ слыхалъ я отъ забритыхъ въ солдаты слугъ, да и самъ испыталъ, будучи квартермистромъ бывало, моя капитанша понѣрила всю таблицу умноженія на щекахъ моихъ за недочетъ какого нибудь гарнца . . . Пусть будутъ онѣ вѣчно, какъ всегда были, по словамъ поэтовъ, сокрытою виною всѣхъ войнъ, начиная съ Троянской осады, при которой многія тысячи вѣроятныхъ рогоносцевъ дрались за одного несомнѣннаго!

Пусть женская подвязка служитъ наградою храбрости, лишь бы кофта не предводила мундирами. Пускай даже отличаются онѣ въ домашней войнѣ, которая ведется отъ Ноева потопа до Петербургскаго наводненія. Всѣ мужья признаются, что они, не ведя войны, не имѣютъ и мира. Свидѣтель тому мои покойная половина, не тѣмъ будь помянута: бывало, что твоя труба какъ раскудахтается! . . . Жаль бы мнѣ было ея, если бъ не любила она чужихъ мужей и не била своего: окуша-

лась блиновъ прошлую масляницу, да и приказала долго жить, царство ей небесное!

Послѣ этого патетическаго эпизода, онъ пріостановился, вздохнулъ — потомъ крякнулъ, и выставя передъ собой сѣкиру перпендикулярно, въ знакъ твердости и приманы, продолжалъ:

— Однимъ словомъ, пусть будутъ жены стихотворцами, математиками, судьями, министрами, явно или подъ рукой, по праву или на дѣлѣ — пусть будутъ, чѣмъ хотятъ — только не солдатами. Уступаю имъ пальмы — по лавры принадлежатъ однимъ воинамъ! Не для нихъ созданно это прекраснѣйшее, благороднѣйшее и первѣйшее въ государствѣ званіе; нѣтъ другія — средства, оно есть цѣль народовъ . . . Безъ войны, для чего плодились бы люди? Что бы мы дѣлали въ мирное время? Но положимъ даже (чего Боже меня сохрани) что cedant arma togæ, что война есть болѣзнь, и что люди созданы жить въ миръ — изъ этого не выведетъ еще, что женщины способны для строю. Да и какъ могутъ быть онѣ полезны войску, когда самъ великій Петръ въ артикулѣ своемъ запретилъ имъ на выстрѣлъ приближаться къ лагерю, чтобъ не носить туда съ собою раздора и пѣни! Въ самомъ дѣлѣ, когда подумаешь о терпѣніи и подчиненности нашего солдата —

о его безкорыстіи, о его храбрости — онъ защищаетъ отечество снаружи, охраняетъ его внутри, лѣзетъ въ огонь, очерти голову — когда вообразить неутомимость трудовъ его въ походахъ и осадахъ, безстрашіе въ битвахъ — такъ уму чудно, а сердце радуется. Съ пудовымъ ранцемъ за плечами прыгаетъ онъ на стѣну, какъ серна, съ голоднымъ брюхомъ дерется, какъ левъ, на приступѣ! Нѣтъ для нихъ горъ непроходимыхъ, нѣтъ крѣпостей неодолимыхъ. Кто измѣритъ ихъ завоеванія, сосчитаетъ подвиги, — оцѣнитъ славу! Кто?

Мой Демосоенъ вѣроятно истощилъ бы весь запасъ троповъ и фигуръ риторическихъ и всѣ общія мѣста, изъ которыхъ дѣлалъ онъ эту окрошку, не исчерпавъ своего предмета; но шелестъ шаговъ заставилъ прервать рѣчь о вѣщѣ.

— Кто идетъ? затянулъ онъ.

— Свой! отвѣчалъ голосъ.

Это былъ квартальный офицеръ.

— Все ли тутъ въ порядкѣ? спросилъ онъ.

— Все благополучно! отвѣчалъ будочникъ, вытянувшись.

— А зачѣмъ же у тебя въ фонарѣ, вмѣсто четырехъ свѣтиленъ, горятъ только двѣ? Отучу я васъ воровать казенное масло въ кашу.

— Никакъ нѣтъ, ваше благородіе, вѣтромъ задуло.

— То-то вѣтромъ! подливай масла, чтобъ не гасло. Кликни сюда подчаска.

Другой будочникъ вылѣзъ изъ каморки, зѣвая.

— Сведи-ка этого молодца въ часть, сказалъ ему офицеръ, указывая на мертвопьянаго человѣка во фризовой шинели, безъ шляпы, который тащился за нимъ, и никакъ не могъ отыскать своего центра тяжести. При каждомъ шагѣ онъ спотыкался и мѣрялъ землю носомъ, или, воспоминая невинный возрастъ младенчества, двигался на четверенькахъ.

— Веди, веди!

Пьяный. Помилуйте, за что-съ? . . .

Кварт. оф. За пьянство и буянство и ночное шатаніе.

Пьян. Ни въ чемъ не причинепъ-съ: маковой росинки во рту не было.

Кварт. оф. Видишь, какая малиновка! Росою питается . . .

Пьян. Извольте спросить-съ хоть у кума Василья Мать-вѣ-и-ча-сь: былъ у всенощной . . . у-у . . .

Кварт. оф. Набожный человѣкъ, набожный человѣкъ! То-то, видно, ты помолиться орлу домился въ кабацкія двери?

Пьян. Вотъ изволите видѣть: кумъ Василій Матвѣичъ-съ и говоритъ: пойдемъ! я то есть и сказалъ: пойдемъ! пошли-съ анъ нѣту. — Пожалуйте табачку-съ!

Кварт. оф. Куда конь съ копытомъ, туда и ракъ съ клешней!

Пьян. Вы развѣ конной-съ? У васъ кажется, не конный мундиръ . . .

Кварт. оф. Разглядишь поутру. Въ сибирку его!

Пьян. Въ сибирку-съ? Не извольте обижать-съ; я самъ четырнад-ца-таго класса.

Кварт. оф. Самъ? покажи плакатъ! покажи плакатъ, говорю: по какому ты виду шатаешься? А, что, нѣту? завтра все разберемъ. XIV-го класса! — Видишь, что выдумалъ! да, братъ, ты лапчатый гусь; ты самозванецъ, ты сочинитель! . . .

Пьян. За мной такого художества не водилось . . .

Кварт. оф. Тащи, тащи!

Будочникъ. Изволь-ка подыматься на заднія лапки, господинъ сочинитель; тебѣ еще не слѣдуетъ ѣздить четверней!

Торжественное шествіе удалилось, и я захлопнулъ окошко.

Вотъ тебѣ и содержаніе письма, подумалъ я: съ друзьями нечего чиниться — при-

сѣлъ и написалъ, что видишь. Я нарочно приклеилъ альманачное начало, чтобы заманить въ чтеніе изъ любопытства, которое бы, можетъ быть, бросилъ ты, не смотря на дружбу. Какъ гражданскій чиновникъ, ты безъ сомнѣнія скажешь, что будочникъ мой съ лоскутною своею философіею очень смѣло возвышаетъ воинское званіе надъ прочими; что всѣ званія въ свѣтѣ достойны уваженія, и многое множество прекрасныхъ вещей, которыя въ устахъ твоихъ обновятся и окрѣпнутъ. Я и не спорю ни за его умъ, ни противъ твоей правоты; я хочу только сказать, что не одинъ онъ замѣшкался въ Наполеоновомъ вѣкѣ, не одинъ онъ застарѣлъ въ войнолюбіи.

Что касается до выходки противъ женщинъ — я умываю руки. Это верхъ невѣжества — да чего и требовать отъ будочника! Жаль только, что онъ во многихъ книгахъ, которымъ покланяется публика, можетъ найти себѣ подкрѣпленіе. Не то же ли почти говорили древніе философы? Не то же ли утверждаютъ Нѣмецкіе мыслители? Не такъ ли очертилъ Байронъ прекрасную половину нашего пола, въ разговорахъ съ Мидвиномъ! Не мудрено дать щелчокъ этому смуроому врагу дамъ — не досталось бы только носу какого нибудь

СИБИРСКІЕ НРАВЫ ИСЫХЪ.

Меня приглашаютъ ѣхать на Исыхъ. Но что такое Исыхъ? — Вообще это имя всякаго Якутскаго празднества; но въ особенности оно присвоено празднику *начатковъ-кумыса*. Кто нибудь изъ богатыхъ стадами Якутовъ скопляетъ его большое количество, скликаетъ родныхъ и родовичей, зазываетъ гостей изъ другихъ улусовъ: старъ и малъ собираются, пьютъ — пляска и конская скачка . . . Что жъ, ѣдете? — Ѣдемъ. — Ногу въ стремя и вонъ изъ Якутска. Погода прекрасная, лѣтнія травы благоухаютъ, листья трепещутъ жизнію. Вы бы сказали, что природа сама *виолинѣ* наслаждается. Вотъ видны Якутскія

ны. Близъ нихъ, въ большой загородкѣ, березки, воткнутыя въ землю, образуютъ бесѣдку и дорожки. Множество Якутовъ обоего пола сидятъ кругомъ на колѣнихъ; въ срединѣ пылаетъ пламя. По просьбѣ нашей, праздникъ будетъ по старинѣ, со всѣми прежними обрядами. Три шамана приближаются къ огню; одежда ихъ уже описана отлично бардомъ нашимъ, и мнѣ нечего прибавлять; только вмѣсто рогатыхъ шапокъ, волосы ихъ падаютъ по плечамъ. Они умоляютъ духовъ не вредить ихъ стадамъ, не насылать падежа и болѣзней. Голосъ ихъ то пронзителенъ, то ропотенъ — бубны звучатъ попременно, и каждый изъ нихъ, черпнувъ ложкою кумыса изъ огромныхъ деревянныхъ кубковъ (аяхъ), брызжетъ имъ на огонь. — Это умилостивительное возліяніе. Старшины подводятъ бѣлую кобылицу, и старшій шаманъ, возложа руку на ея голову, проситъ Небеснаго Бога благословить размноженіе стадъ, изобиліе травъ и здравость сего кумыса. Онъ вырываетъ нѣсколько волосъ изъ гривы и бросаетъ въ огонь; съ этой минуты благословенная кобылица становится неприкосновенною. Ни сѣдло, ни удило не будетъ ей знакомо: никогда ножницы не уронятъ съ нея ни волоска. Тутъ началось подчиванье: въ большихъ и малыхъ

чашахъ разносятъ гостямъ кумысъ — между тѣмъ, какъ умный разскащикъ говоритъ похвалу ему, и громкіе клики одобренія летятъ со всѣхъ сторонъ: ораторъ неистощимъ. Женщины, схвати другъ друга подъ руки, образуютъ кругъ для пляски подъ ничего незначащій припѣвъ, похожій на крикъ тянущихъ матросовъ. Пляска эта есть не что иное, какъ ходьба кругомъ въ одну сторону — ставя лѣвую ногу въ бокъ, а правую впередъ: ни красы, ни занимательности — это тающая зима. — Платье Якутское весьма красиво: короткое полукафтанье, широко опушенное краснымъ сукномъ, шелковый кушакъ и красные замшаные сапоги. Якутки въ лучшихъ своихъ нарядахъ: многія въ лѣтникахъ, большая часть въ шубахъ суконныхъ или шелковыхъ съ соболиною или бобровою окладкою, съ подвѣсками на косахъ, на серьгахъ, на плечахъ. Изъ нихъ иныя очень не дурны — но огромныя мѣховыя шапки безобразятъ всѣхъ.

Мужчины скачутъ и бѣгаютъ на перегонки; — прыгаютъ на далекое разстояніе на одной ногѣ или черезъ веревочку — движенія ихъ медленны и неловки — климатъ видѣнъ во всемъ. Борются полунагіе, упершись головами и схватя другъ друга за руки выше локтей. Кто первый коснулся земли спиною,

тотъ побѣжденъ. Смѣхъ и клики привѣтствуютъ атлетовъ.

Но вотъ открывается поприще, на которомъ каждый Якутъ можетъ быть героемъ: это проба обѣдать. Одинъ съѣдаетъ едва ли не четверть быка, другой глотаетъ 30 фунтовъ растопленнаго масла съ разу, третій осушаетъ анхъ ведра въ полтора, не отнимая его отъ губъ: это доказало эластичество желудка; — вотъ примѣръ быстроты челюстей: — удалецъ, пустивъ стрѣлу вверхъ изъ лука, съѣлъ пять карасей, прежде чемъ она упала на землю. Товарищи не съ удивленіемъ, но съ завистію любовались на счастливцевъ.

И только? только, друзья мои! На это пріятно взглянуть, какъ на Китайскія тѣни. Одно и то же, наскучило мнѣ въ часъ. Я покинулъ грязныхъ дѣтей природы для вѣчно-юной ихъ матушки, и скоро шумъ ключей Камчатскаго камня утѣшилъ мой слухъ, утомленный нескладнымъ пѣніемъ Исыха.

КОНЕЦЪ ЧЕТВЕРТОЙ ЧАСТИ.

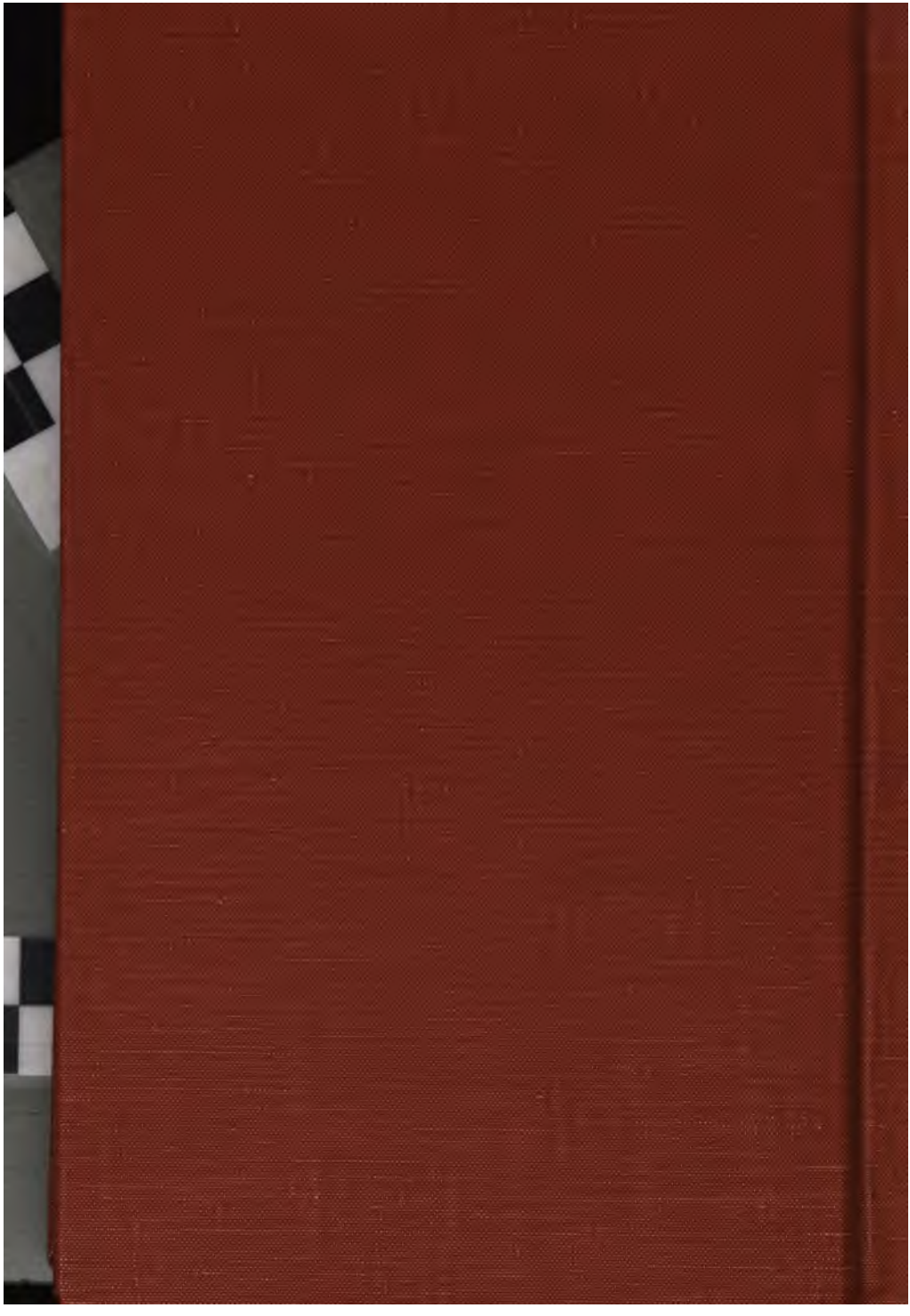
ОГЛАВЛЕНІЕ

ЧЕТВЕРТОЙ ЧАСТИ.

Стран.

Латникъ 3
Замокъ Вендс[illegible] 97
Ревельскій Ту[illegible] 115
Романъ въ семи ча[illegible] 185
Военный антикварій 205
Часы и зеркало 231
Будочникъ-Ораторъ 249
Сибирскіе нравы. Иски 263

3 6105 001 348 734

DATE DUE

RD UNIVERSITY LIBRARIES
NFORD, CALIFORNIA
94305